

Умершая наука (астрология)

Наука — отражение вечной истины в человеческом уме. Оно будет более или менее отчетливым, смотря по свойствам феноменов, в которых преломляется на своем пути луч этой истины; но исчезнуть оно не может — пока существует человеческий ум. Другими словами: с человеческой точки зрения наука вечна и умереть не может. «Умершая наука» — в строгом смысле слова — совмещение несовместимых понятий. Противоположность наукам образуют с этой точки зрения верования. Они — создание высшей потребности человеческой души и живут поэтому лишь до тех пор, пока жива потребность, призвавшая их к жизни. Находясь таким образом в зависимости от подверженных постоянным изменениям факторов, они возникают и исчезают, сменяя отжившие формы и сменяясь в свою очередь новыми, порожденными новым фазисом развития общества. История умственной культуры человечества усеяна трупами умерших верований.

Бывают, однако, случаи, когда верования, не довольствуясь той естественной, хотя и зыбкой почвой, которую они находят в человеческой душе, стараются вступить в союз с наукой, заимствуя и обнаруженные ею факты и законы, и применяемые ею методы. Делают они это, конечно, с целью обеспечить себе ту вечность, которая в силу естественных условий составляет достояние науки; но результат от этого союза получается противоположный. Подчинившись чуждой ей цели, перейдя из ведения созерцающего естества человеческой души в ведение желающего и требующего, наука перестает быть отражением истины, которая, по законам оптики, может отражаться только в спокойной, а не во взволнованной стихии. Вырванная из своей родной среды, она сохраняет лишь внешнее подобие науки; на деле же это призрак, мираж, движущийся не собственной силой, а произволом того ветра, который его уносит. Залога вечности в нем нет; прожив свое время, он гибнет, доставляя пытливому наблюдателю интересное зрелище «умирающей», а вскоре затем «умершей науки».

Конечно, интерес этого зрелища в различных случаях различен; его степень зависит от блеска личностей, связавших свои имена с именем умершей науки, от суммы энергии и остроумия, потраченных на ее сооружение, от ее живучести в пределах времени и места, от ее влияния на своих современников, от того обаяния, наконец, которое окружало ее при жизни. Со всех этих точек зрения первенство среди умерших наук принадлежит той, характеристике которой посвящена настоящая статья, — астрологии; достаточно будет сказать, что, возникши в эпоху зарождающегося стоицизма, перешедши из Греции в Рим, из Рима в Византию и к арабам, возродившись с новой силой в эпоху возрождения всех наук вообще, она насчитывала еще страстных поклонников в эпоху Ришелье и Валленштейна и погибла лишь в XVIII веке, после двухтысячелетнего с лишком царствования над умами людей. Мы сказали, что астрология возникла в эпоху зарождающегося стоицизма; действительно, мы увидим, что и этот ядовитый анчар вырос в том же греческом вертограде, из которого мы получили все наши науки и искусства. Ее источники поэтому греческие и — за потерю греческих оригиналов — латинские. Так велик и полон был, однако, мрак забвения, окутавший астрологию после ее гибели, что эти источники в XIX веке, возродившем почти всю прочую сокровищницу греческой и римской литературы, даже не издавались; только в самое последнее время они вновь привлекли интерес естественных блюстителей этой сокровищницы, филологов. Интерес этот усилился благодаря ряду греческих папирусов астрологического содержания, найденных за последние годы в Египте; работы по изданию всех этих материалов производятся компетентными людьми со всею той энергией и тщательностью, которые характеризуют филологическую деятельность наших времен. Кончатся эти работы еще не скоро; а по их окончании назреет новая задача — определить так называемую филиацию

астрологических источников, т.е. их зависимость друг от друга, восстановить потерянные звенья и т.д. Тогда только будет расчищена почва для возведения здания вполне научной истории греческой астрологии.

Но отдаленность срока вполне удовлетворительного решения задачи не освобождает историко-филологическую науку от обязанности посильного ее решения теперь же в тех случаях, где дело касается важного и интересного во многих отношениях вопроса. С этой точки зрения мы должны быть обязаны ученому французскому филологу Буше-Леклерку, автору прекрасно известной и у нас четырехтомной «Истории ведовства в древности», за его последний, недавно появившийся труд по интересующему нас вопросу (*L'astrologie grecque, par A.Bouche-Leclercq. Paris, 1899. 658 с.*). Это сочинение, счастливо совмещающее солидность научной подкладки с живостью и остроумием изложения, послужило толчком к написанию настоящей статьи; ему же мы в значительной мере обязаны и материалами, вошедшими в ее состав.

II

Звездное небо нам, сынам севера, ничего или почти ничего не говорит. Белые ночи летом, холодные ночи в прочие времена года делают его наблюдение невозможным или неудобным; часы, компас и календарь делают его также излишним. Вот почему оно большинству из нас представляется набором светлых точек, в котором мы не видим, да и не желаем видеть, ни порядка, ни смысла; мы в крайнем случае любуемся им, как красивым зрелищем, в ясную, безоблачную ночь; но своей зависимости от него мы не признаем и не чувствуем. Не то было в старину, в той благодатной стране юга, которая родила и вырастила нашу культуру. Вращение небесного свода, будучи само по себе в тех широтах более быстрым, чем у нас, становилось вдвое заметнее вследствие большей прозрачности глубокого южного неба, большой яркости звезд. Его правильность рано была замечена; все светила мерным торжественным хоромом, то погружаясь в волны моря, то опять всплывая на поверхность голубого эфира, медленно кружились вокруг огромного созвездия, которое одно постоянно оставалось на небосклоне. Это центральное созвездие прежде всего и более всего привлекало внимание наблюдателя. Наклоненное над северным горизонтом, оно казалось чудовищем из северных стран, небесным первообразом тех диких зверей, которые иногда, спускаясь с лесистых балканских гор, наводили ужас на обитателей их подножия. Его назвали поэтому Медведицей. При некотором усилии фантазии удалось разобрать на небесном своде ее хвост, ее туловище, ее четыре ноги, ее голову. Эта последняя, обращенная к югу, словно кого-то высматривала; взор переносился на юг — и там встречал самое яркое созвездие южного небосклона, огненного гиганта с поясом из трех сверкающих звезд. Если то была Медведица, то здесь очевидно был ее естественный враг, вечный Охотник среди небесных светил. Тогда в том другом, меньшем, но не менее ярком созвездии, которое восходило на короткое время позади и пониже Охотника, пришлось признать его неотлучного Пса (*Seirios Kyon, «Сириус»*). Очевидно, Охотник с тем и кружится вокруг Медведицы, чтобы поразить ее; очевидно, Медведица потому и вращается все на одном месте, чтобы уберечься от его нападения. Этим было найдено вполне удовлетворительное объяснение с точки зрения древнейшего охотничьего и пастушечьего быта. Позднее оно показалось недостаточным; Медведица, символ Артемиды, была принята за саму богиню; в Охотнике был признан дерзновенный смертный, осмелившийся преследовать своей любовью строгую девственницу; он получил имя Любовника — Ориона (перв. *Oarion* — от *oag*, «любовь»). Охотником он при всем том мог оставаться, так как сама Артемида была богиней - охотницей; в быстром погружении под горизонт, т.е. снисхождении в преисподнюю, можно было признать кару, постигшую его за его нечестие, — и действительно, Одиссей в аду водит его как вечного охотника преисподней, подобно тому как обитатели земли знают его вечным охотником в небесах. Еще позже полюбилось

другое объяснение. Медведица была уже не Артемидой, а одной из ее нимф, уступившей любви Зевса и нарушившей обет девственности. За это она была превращена в медведицу, а ее сын, плод ее несчастной любви, вырос под чудесным покровительством своего отца и стал со временем удачным охотником. Однажды он встретился с тем зверем, который был некогда его матерью. Он замахнулся на него копьем, но боги, чтобы предотвратить невольное матереубийство, перенесли обоих в среду небесных светил — нимфу как Медведицу, ее сына как «Стража медведицы» (Arctophylas или Arcturus). В качестве последнего он отождествлен, однако, не с Орионом, слишком далеким от Медведицы, а с близким к ней созвездием, которое у Гомера называется Пастухом, Bootes; позднее имя Боота осталось за всем созвездием, а имя Арктура перешло к его наиболее яркой звезде. Но злопамятная Гера не могла простить страдальце того, что она некогда была ее соперницей, и упростила Океана не принимать ее в свою прохладную купель.

В последнем объяснении мы имеем образчик той игры творческой фантазии греков, которую они называли «катастеризмом»: небесное явление представляется вечным, но бесстрастным памятником того, что некогда происходило на земле. Благодаря таким катастеризмам все небесное пространство было заселено бывшими обитателями земли, будь то люди, чудовища или даже предметы вроде корабля Аргонавтов, венца Ариадны или лиры Ариона. Герои и символы земных подвигов и страданий были перенесены в недвижимую, бесстрастную стихию; лишившись таким образом своей бурной земной природы, они сохранили, однако, тихую симпатию, тихую грусть или тихую злобу. Не набор светлых точек видел античный человек в звездном небе: он взирал на него и его хорошо знакомых обитателей с чувством то благодарности, то сострадания, то страха, как на сонм высших, одушевленных существ.

Но помимо этой пищи, которую давал его воображению небесный свод с его правильным, мерным движением, он чисто практическим образом влиял на жизнь грека. С переходом от пастушеского к земледельческому быту труд человека был поставлен в гораздо более тесную зависимость от времен года; а что чередование времен года сопровождается восходом или закатом тех или других светил — это было нетрудно заметить. И вот звездное небо стало живым календарем греков, несравненно более удобным, чем неточные и различные для различных общин гражданские календари; им руководились для определения времени той или другой работы:

Ты, лишь на неба средину со Псом Орион лучезарный
Выйдут, под утро ж Арктура Заря розоперстая узрит,
Все виноградные грозди отрежь и домой отнеси их;
Десять и дней и ночей (sic) ты их Солнцу показывать должен,
Пять дней в прохладе держать; на шестой же в объемистый выжми
Чан Диониса дары благодатного. А погрузятся
В море Плеяды, Гиады и славная мощь Ориона —
Должен ты помнить, о, друг мой, что срок пахотьбы наступает...

Это — место из «крестьянского календаря», как его называют, Гесиода, образец тех правил для полевых работ, которые знали и понимали во всей Греции. Но небесные светила были не одними только знаками — signa, как их называли римляне, — по которым судили о наступлении благоприятного времени для той или другой работы, — им приписывалось гораздо более интимное участие. Правда, мы можем только догадываться о чувстве стыда и страха, с которым смотрел на стоявшего в зените Ориона нерадивый виноградарь, не успевший убрать свой урожай; но вот образчик из того же крестьянского календаря в несколько ином роде. Говориться про самый разгар лета, когда кузнечики на деревьях трещат:

Тою порою... мужчины
Слабы: им Сириус темя и бедра насквозь прижигает,
Сохнет от зноя их кожа...

Заметьте: не солнце после восхода Сириуса, а сам Сириус обессиливает мужчин, невзгоды знойного лета, с его слабостью, лихорадками и т.д., приписываются непосредственному воздействию вредных лучей лютого Пса небесного охотника — недаром он сверкает таким зловещим, таким багровым блеском, точно налитый кровью глаз разъяренного чудовища! Действительно, этот Сириус, кажущийся нам ясным и скорее с синеватым отливом, по единодушному свидетельству древних, был красной звездой; это — самая интересная астрофизическая загадка из древнего мира. Да, недоброе «влияние» имеет на людей Сириус; совершенно иной характер присущ тем двум белым звездам, которые сияют повыше Ориона на пути от него к Медведице. Это — Диоскуры, Кастор и Поллукс; к ним взывает пловец, когда тучи окутали небо и буря грозит гибелью его лодке. Внемлют они его молитве — разорвется покров туч, умолкнут ветры и волны, сладким залогом спасения засияет тихий свет божественной четы на небесной тверди. И грек не сомневался в том, что это они, эти ясные звезды, разогнали тучи и уладили море; они помогают, кому хотят, т.е. добрым, а не злым:

А мы к сицилийским волнам поспешим,
Спасать корабли среди бури.
Преступное сердце с эфирных высот
Спасенья от нас не увидит;
Но тот, кто и правду, и долг свой хранил,
И жизнь не позорил, — тот мил нам, —

говорят они сами у Еврипида («Электра», пер. И.Ф.Анненского). И так, божественная сила звезд несомненна; мы все подчинены их могучему, хотя и глубоко таинственному «влиянию»... *influentia*, как говорили позднее римляне; у нас это последнее слово опять вошло в моду, с утратой своего первоначального, астрального характера, как имя загадочной болезни (ниже — гл. XIII). И это влияние не только непосредственно, но и произвольно; не только произвольно, но и разумно. Так-то догмат всемирной симпатии (*simpatheia ton holon*) возник сам собою в народном сознании древних греков; философии было предоставлено обосновать и развить его и затем передать его в научно обработанном виде той царственной науке, которой он был нужен, как необходимое основание ее выводов.

Но прежде чем это могло случиться, греческая философия должна была получить толчок извне. Эпоха этого толчка — начало III века; все же надлежит помнить, что медленная инфильтрация идей, о которых будет речь, могла происходить и действительно происходила и раньше. Но эта инфильтрация лишь в слабой степени для нас уловима; давая здесь лишь общую характеристику религиозно-научного движения, создавшего астрологию, мы имеем право оставить ее без внимания.

III

С древних пор — хотя и не столь древних, как это воображали позднее, — систематическое наблюдение небесных светил происходило в долине Евфрата, среди халдеев. Но не весь небесный свод одинаково привлекал их внимание: лишённые творческой фантазии греков, а равно и их метафизических наклонностей, они не знали догматы всемирной симпатии и не чувствовали потребности верить в таковую. Звезды вообще в правильном движении кружились вокруг Земли — именно эта правильность не давала возникнуть мысли об их божественности. Это свойство было приписано тем из них, которые своим уклонением от всеобщих законов доказывали, что в них живет самостоятельная сила; это были, прежде всего, оба светила в тесном смысле, боги Шамаш (Солнце) и Син (Луна), прокладывающие себе свой собственный путь по небесной тверди. Правда, и их движения были закономерны, но зато они по временам затемняли свой божественный облик, очевидно, желая этим подать людям весть о чем-то важном, имеющем решающее значение для их жизни. Не менее ясна была наличность

произвольной и, стало быть, божественной силы у пяти других меньших звезд. И они переходили от одного созвездия к другому, но не правильным шагом, как те, а каким-то странным, порывистым: то быстрее, то опять медленнее; случалось, что они останавливались, затем шествовали в обратном направлении, затем опять с удвоенной быстротой продолжали свой путь. Очевидно, и эти пять звезд принадлежали к богам-«возвестителям». Самой блестящей и свободной из всех было присвоено имя главного вавилонского бога, Мардука (Юпитера); в красавице вечерней звезде признали богиню любви, Иштарь (Венеру); багровая звезда о зловещем сиянии была приурочена к богу смерти, Нергалу (Марсу); равным образом другая немилая звезда, желтая и медленная, — к мрачному Нинибу (Сатурну); оставшейся пятой, неотлучной спутнице Солнца, дали имя бога мудрости и специально ведовства, Набу (Меркурия). Храмы халдейские, возвышавшиеся на семи террасах, позднее были сравнительно недурно приспособлены к тому, чтобы служить обсерваториями; приблизившись на целых семь этажей к богам, можно было с гораздо большим удобством вступать с ними в сношения.

Таким образом, халдеи были творцами столь важной в позднейшей астрологии семипланетной системы; им же приходится приписать и установление ее необходимого коррелята, зодиака. Действительно, нетрудно было заметить, что все планеты, включая Солнце и Луну, движутся всегда по одной и той же полосе небесной тверди — как равно и то, что пребывание собственно Солнца в той или другой ее части создает чередование времен года. Полоса эта состоит из двух половин, из коих одна сильно возвышается над горизонтом, проходя почти через зенит, другая — сравнительно очень мало. Пока Солнце пребывает в первой — длится жаркая и сухая пора года; когда оно переходит во вторую, начинается ненастная, зимняя пора. Эти зимние ненастья жреческая мудрость объясняла тем, что Солнце тогда погружается в волны небесных вод; те четыре сравнительно отчетливых созвездия, которые составляли зимнюю половину зодиака, были поэтому названы именами водных существ. Это были: человек - Скорпион (с которого начиналось погружение Солнца), Коза - рыба, Водолей (пора самых обильных дождей) и Рыбы. В весеннее равноденствие Солнце, оставляя небесные воды, начинало свое восхождение: его знак поэтому изображали наподобие быка (самого Солнца), передней частью своего тела вылезавшего из воды (такое изображение осталось на все времена за созвездием Тельца). Затем оно, прошедши свою самую приятную пору в знаке благодатных отроков - Близнецов, превращалось в лютого, разрушительного зверя в созвездии Льва и лишь в знаке ласковой Девы умеряло свой пыл. Их этих-то восьми знаков, четырех водных и четырех, так сказать, сухопутных, состоял, насколько мы можем судить, древнейший халдейский зодиак: их имена, с легкими изменениями, сохранились и поныне. Это 1—4) Скорпион, Козерог, Водолей, Рыбы и 5—8) Телец, Близнецы, Лев, Дева. В более позднее время — но во всяком случае ранее XII века до Р.Х. — к этим первоначальным восьми знакам были прибавлены остальные четыре, имена и образы которых отчасти нарушили стройность деления на водную и сухопутную половины — Овен, Рак, Весы и Стрелец.

Можем ли мы, однако, вместе с этим двенадцатизначным зодиаком и семипланетной системой приписать и астрологию ученым древнего Вавилона? Конечно, если верить свидетельствам греческих и римских астрологов, то придется всю их сложную премудрость признать халдейским изобретением; но в том-то и дело, что эти свидетельства никакого доверия не заслуживают. В такой сомнительной науке, какой была астрология с ее произвольными и чисто условными постулатами, авторитет древности был часто единственным, которым можно было прикрыть какое-нибудь вопиющее прегрешение против здравого смысла; отсюда масса таких ссылок на «халдеев» и на глубокую древность, к которым лишь в самое последнее время стали относиться скептически. Самым верным способом разобраться в настоящей халдейской астрологии является тот, при котором привлекаются исключительно оригинальные клинописные тексты, притом древнейшие, а не те, которые относятся к эпохе Арсакидов, когда классический Восток успел уже испытать на себе воздействие греческой культуры.

Если же сосредоточиться на этих древнейших текстах, то халдейская астрология предстанет перед нами в довольно несложном виде. Она, по-видимому, не имела того внешнего подобия научности, которым позднее греческая подчинила себе умы даже серьезных людей. Ее характер был чисто ремесленный: отмечается само явление, затем последствие, которое оно может иметь для земных дел. Марс в оппозиции с Сатурном (?) — «счастье царю»; с Венерой — «шесть месяцев царь остается в стране»; с Юпитером — «гибель для страны» и т.д. Особенное значение приписывается Луне и ее затмениям; затем — ореолам и другим явлениям метеорологического характера. И здесь сообщаются приметы: такое-то явление полезно для страны и царя, вредно для Финикии; при таком-то — будет урожай; при другом — справедливость будет царить в стране и т.д.

Как видно отсюда, предметом заботы халдейских магов была высшая политика, царь и страна; они были придворными астрологами. При строго монархическом характере восточных государств естественно должно было возникнуть мнение, что если астральные боги берут на себя труд сообщить что-либо человеку, то это их сообщение может иметь отношение только к царю, а не к простым смертным. Мысль, что звезды озабочены судьбою также и обыкновенного человека, — по тонкому и правильному замечанию Буше-Леклерка — была результатом греческого демократизма.

IV

Вот какова была нехитрая мудрость, которая, проникнув в впечатлительную и восприимчивую Грецию, породила научную астрологию. Но для того, чтобы греческая почва могла воспринять и вырастить восточное семя, нужно было, чтобы новь народного сознания была вспахана сохой философской мысли. Это случилось главным образом в V и IV веках; но первые бессознательные усилия в указанном направлении восходят к началам греческой философии. Ионийские мыслители с их наивной космогонической спекуляцией устанавливают догмат единого происхождения вселенной из единого одушевленного вещества, или, говоря правильнее, теоретически подкрепляют этот постулат народной веры; собственно Гераклит, видевший в человеческой душе «искру звездного естества», частицу того же огня, который живет и действует в небесных светилах, значительно содействовал научному обоснованию догмата всемирной симпатии; Учение Пифагора в своей астрономической части было скорее неблагоприятно для позднейших астрологических домислов — гипотеза о движении Земли отнимала у них почву, — но зато в своей математической части оно снабдило будущих астрологов отличным оружием для их мистических конструкций. Тайнственное значение четы и нечеты, как женского и мужского рода в арифметике, священный характер тройцы и седмицы — все это, развиваясь и пополняясь, перешло со временем в арсеналы астрологов, которые удержали даже имя «успевающих ученых» пифагоровой школы, mathematici.

Все же эти фантастические арифметика и геометрия могли дать пищу лишь созревшей астрологии; ее возникновению содействовала гораздо более философия Эмпедокла, этого мага среди греков V века. Этот удивительный человек в тройном отношении подготовил рождение астрологии. Во-первых, своим положением о Любви и Вражде, как обеих действующих в мироздании силах; это центральное положение его космогонии если и не было прямым философским выражением догмата всемирной симпатии, то все же уживалось с ним как нельзя лучше. Во-вторых, своим учением о четырех стихиях, комбинациями которых являются все существующие в мире предметы, не исключая и человека; этим учением однородность всего сущего была подчеркнута гораздо энергичнее и нагляднее, чем даже устаревшими гипотезами ионийцев о происхождении мира из единого вещества. И действительно, в его принятой и дополненной Аристотелем форме это учение сделалось одною из основных аксиом позднейшей астрологии. Но для этого оно нуждалось в вспомогательной гипотезе, установление которой было третьей заслугой Эмпедокла. Это была его теория «излияний»

(арогthoeae, effluvia), посредством которых предметы могут даже на далеком расстоянии оказывать действие друг на друга; так человек в огненной части своего естества может воспринимать излияние огненной стихии — т.е. звезд. Не трудно догадаться о том, с каким жаром должна была со временем астрология ухватиться за эту мысль, дававшую ей возможность благополучно разрешить одно из самых серьезных недоумений, возбуждаемых ее построениями.

Но как высоко мы бы ни ставили заслуги Эмпедокла с той (очень условной) точки зрения, на которой мы стоим здесь, — несравненно сильнее было влияние Платона. Правда, у него немного такого, что могло бы сослужить астрологии непосредственную службу, но зато это немногое таково, что в него можно было вложить многое, освящая и то и другое великим именем философа - пророка. Божественность «идей» заставляла признать их обителью пространство в высших сферах над звездным небом; отсюда был только один шаг до отождествления идей с теми знаками, которыми младенческий ум древнейших греков населил небесную твердь, и если астрология этого шага не сделала — сделал его герметизм, — то потому только, что эти знаки вне узкой полосы зодиака ее не интересовали. Но и души, будучи родственны божественным идеям, должны были обитать в той же сфере звезд, как и они, и лишь необходимость земного существования заставила дать им брэнную оболочку в виде тела. Это тело не могло быть делом рук творца — Демиурга, — иначе оно было бы так же бессмертно, как и все его творения. Нет, он поручил его создание божествам планет, коих семь, Солнце, Луна, Меркурий, Венера и еще три «безыменных». Итак, планеты божественны — это раз. Затем свойства человека зависят от свойства или воли создавшей его планеты; это — богатая мысль, содержащая в зародышевом виде всю позднейшую «генетлиологию», т.е. добрую половину практической астрологии. Читатель заметит, что идеи влияния планет на рождение человека мы не встречали до сих пор ни у греческих философов, ни у халдеев, ни в греческой народной вере; это — новое семя, брошенное Платоном, и его комментаторы уже позаботятся о том, чтобы оно не пропало даром: неоплатонизм сплошь и рядом подает руку астрологии.

Что касается Аристотеля, то его трезвая и сухая физика не давала пищи надэфирным мечтаньям; все же один пункт его учения можно было использовать — именно тот, в котором он исправил учение Эмпедокла о стихиях. Его систематический ум не удовольствовался той формой, которую придал этому учению сам автор: число и подбор стихий должны были показаться ему произвольными, если бы не удалось их вывести логическим путем из более простых и рациональных принципов. И Аристотелю это удалось. Исследуя основные свойства тел, он нашел, что они сводятся к двум парам: сухое и влажное, теплое и холодное; помножив эти два биннома друг на друга— $(a + b) \times (c + d) = ac + bc + ad + bd$, — мы получаем именно наши четыре стихии. Сухая и теплая стихия — это огонь; влажная и теплая — воздух; сухая и холодная — земля; влажная и холодная — вода. Без натяжки, как видит читатель, дело не обходится, но нельзя было требовать от астрологии, чтобы она ее заметила и обнаружила. Напротив, ей было приятно, что она хоть в чем-нибудь могла позаимствоваться у Аристотеля и связать со своими конструкциями имя великого философа — великого также и в своей физике, о которой не следует судить по только что приведенному образчику.

Теперь недоставало только одного, чтобы достроить философский фундамент астрологии. Мир был одушевлен и божествен, доступный ощущению и познанию человека благодаря своей однородности с ним как макрокосма с микрокосмом, обусловленной образованием обоих из одних и тех же стихий, т.е. одних и тех же комбинаций одних и тех же основных свойств; та же однородность, при наличности излияний, подчиняет человека непосредственному воздействию поднебесных сфер, занимаемых божественными светилами, — воздействию, сказывающемуся всего сильнее при образовании самого тела человека, или брэнной оболочки его бессмертной души. Это — самое яркое, хотя и не единственное проявление всемирной симпатии. Со всем этим

можно было согласиться — и все-таки отрезать все дальнейшие выводы одним крайне серьезным вопросом. Допустим, что судьба человека predetermined влиянием планетных божеств; можно ли отсюда вывести заключение, что это predetermined может сделаться известным человеку! Скорее — нет; ведь что я знаю, того я могу избежать; а раз я могу его избежать, то где же тут predetermined? Как видит читатель, наш фундамент не мог считаться законченным до решения вечного спора о детерминизме и свободе воли. Положим, этот спор стоит на пороге всякой теории ведовства; но именно астрология, как единственная построенная на философских, научных началах форма ведовства, должна была серьезнее, чем какая-либо другая, к нему отнестись.

К счастью для нее, от этой работы ее освободила философская школа, сильнее прочих заинтересованная в утвердительном, оптимистическом решении вопроса о ведовстве, — школа стоическая. Построив — в противоположность рационализму, скептицизму и индифферентизму других учений — свою метафизику и добрую часть своей этики на догмате существования божества и его попечения о человеке, стоицизм жаждал возможности неопровержимо доказать этот свой коренной догмат указанием на фактичность ведовства; действительно, раз ведовство есть, есть и божество, есть и его забота о человеке. Когда поэтому возникла новая наука, поставившая предугадывание судьбы на твердую, как казалось, почву, другие философские школы отнеслись к ней с более или менее явным недоброежелательством, но стоицизм принял ее с полной готовностью, как желанную гостью и союзницу.

И тут мы дошли до того момента, когда на достаточно разрыхленную почву греческой культуры было брошено семя восточных, халдейских идей.

V

Одной из наиболее интересных и поучительных страниц древней истории является сравнение обоих важнейших по их влиянию на современность народов древности — греков и евреев — в их отношении к иностранным культурам.

У евреев это отношение — принципиально враждебное и пренебрежительное. Обладая традицией, возводящей их историю в непрерывном чередовании поколений к самому сотворению мира, традицией, в которой они явно были выставлены избранниками среди народов и племен, они а priori не могли признать превосходства, вообще или в частности, чужой культуры перед своею. По мере того как они стали знакомиться с другими культурными народами восточного бассейна Средиземного моря, особенно с египтянами и греками, для них становилось ясным, что все культурные блага этих народов были заимствованы когда-то у их предков и что они, стало быть, были учителями народов. Греческая философия, прежде всего, ученица еврейской: Пифагор, Сократ, Платон почерпнули содержание своего учения из книг Моисея. Равным образом и греческие поэты, не только Гомер и Гесиод, но и баснословные, как Лин и Мусей, были плагиаторами еврейских книг, в подтверждение чего приводились не только поразительные созвучия, вроде только что упомянутых имен Мусея и Моисея, но и ясные свидетельства — увы, подложные — всех названных поэтов. Мало того, даже языческие религии, с их многобожием и идолопоклонством, были еврейского происхождения: Моисей ввел культ богов в Египте, а от египтян он перешел и к другим народам. Все это приводится мною, разумеется, *ad memoriam vetustatis*, поп *ad contumeliam civitatis*, говоря словами Цицерона, и, пожалуй, еще с одной задней мыслью: я думаю, кое-кому из наших современников, по ею и по ту сторону рубежа, полезно будет взвесить значение этой параллели.

Действительно, диаметрально противоположность евреям образуют в интересующем нас вопросе эллины, и нигде этот контраст не выступает разительнее, чем в сочинении первого по времени грека, сознательно, хотя и поверхностно изучившего иностранные культуры, — Геродота. Пытливый, любознательный, жадный до всякого

учения, откуда бы оно ни исходило, он и свой народ представлял себе таким же умственно молодым учеником всех и каждого, каким он был сам. Лишь только заметит он какое-нибудь сходство между родным и иностранным институтом, для него становится ясным, что именно этому институту его предки научились у иностранцев. Конечно, настала и для Греции пора, когда она заявила о своем культурном превосходстве перед другими народами, но эта пора была порой упадка греческой культуры. В этом-то и заключается поучительность нашей параллели. Народу-ученику принадлежит мир; кто самодовольно объявляет период учения своего народа оконченным, тот этим самым жертвует его будущим.

В то время, о котором идет речь, т.е. к началу III века до Р.Х., Греция еще охотно сознавала себя ученицей. А поучиться было чему: незадолго до того, благодаря победам Александра Великого, заставы между Грецией и Востоком пали; сближение между греческой и восточной цивилизацией произошло более полное, чем когда-либо до того. Одним из результатов этого сближения была деятельность вавилонского жреца Бероса, написавшего на греческом языке объемистое сочинение об истории своей родной страны. Мы о нем имеем только смутное представление; все же несомненно, что не последнее место в нем занимали астрологические наблюдения и приметы, вся эта таинственная мудрость, накопленная в глиняных библиотеках вавилонских царей за несколько сотен тысячелетий... Да, несколько сотен тысячелетий; Берос был щедр на нули. По своему научному содержанию халдейская астрономия была не такова, чтобы особенно поразить греческих ученых, которые к тому времени, путем применения математического метода, успели поставить свою науку на очень почтенный уровень, — нужно было поэтому раздавить их возражения под тяжестью цифр. Это было тем желательнее, что новым просветителям грозила серьезная конкуренция со стороны египтян и их «династий», головокружительная древность которых изумила еще Геродота; и действительно, как раз к этому времени египтянин Манефон выступил таким же посредником между своим и греческим народом, каким был Берос для греко-вавилонских отношений. Берос поэтому определил древность своей родины, с тех пор как в ней начали производиться астрономические наблюдения, — в 490 000 лет; в таком почтенном возрасте можно было не бояться египетской конкуренции.

Откровения Бероса глубоко взволновали весь греческий мир. Сам жрец получил приглашение переселиться в благодатный Кос, тогда один из центров эллинистической культуры и едва ли не самый привлекательный уголок греческого мира, с его старинной школой врачей-асклепиадов, с его прекрасным, здоровым климатом, с его живой умственной жизнью, о которой свидетельствуют стихотворения Феокрита и новонайденного Герода. Здесь эллинизованный вавилонянин нашел многочисленных и благодарных слушателей для своих лекций; здесь, по-видимому, произошло то соединение восточного оккультизма с греческой наукой, плодом которого была научная греческая астрология.

Действительно, хотя мы и не знаем, в частности, много ли было нового для греков в астрономической науке Бероса и халдеев, но одна мысль была во всяком случае новостью для них: божественные планеты своим положением предвещают человеку будущее. За эту мысль одна часть греческих астрономов жадно ухватилась; другая, правда, отнеслась к ней очень скептически. В астрономии произошел раскол. Примкнувшая к халдейской мудрости группа естественно держалась и впоследствии своих учителей и присвоила себе даже их имя; отсюда — нарицательное *chaldaei*, как обозначение греческих астрологов, начиная с III века до Р.Х., нарицательное, так долго вводившее в заблуждение и древних, и новых ученых. Конечно, слава Эллады ничуть не пострадала бы, хотя б ей пришлось даже всю астрологию уступить Вавилону, — скорее напротив; все же справедливость требует, чтобы мы и в этой области соблюдали принцип: *suum cuique*. Вавилону принадлежит, кроме некоторых элементарных астрономических сведений, самый принцип гадания по затмениям и конstellациям, а равно его чисто

ремесленное приложение в отдельных случаях для предсказания судьбы царей и царств; Греции принадлежит философский и систематический дух, превративший ремесленную практику халдеев в рационально обоснованную и последовательно развитую во всех своих частях науку — или, по крайней мере, квазинауку.

Приступая в нижеследующем к изложению этой квазинауки, я прошу читателя не ожидать... говоря правильнее, не опасаться, что ему будет предложено нечто вроде сокращенного руководства греко-халдейской астрологии: отсылая его за всеми частностями к труду Буше-Леклерка, я ограничусь изложением одних только руководящих идей, поскольку они различимы для нас в лабиринте конкурирующих астрологических систем древнего мира. А затем мы, вновь подняв оставленную здесь историческую нить, проследим дальнейшую судьбу астрологии в античную эпоху: ее победное шествие по всем землям Римской империи — ее борьбу с враждебными стремлениями философии, науки, политики и религии, — ее отношения собственно к христианской религии, нашедшей в ней одного из своих серьезнейших соперников, — ее мартиролог и конечное торжество.

VI

Прошу читателя представить себе рулетку — вообще похожую на ту, которая употребляется для известной всем азартной игры. Только шариков в этой рулетке будет, вместо одного, целых семь — золотой, серебряный, голубой, белый, красный, розовый и черный. Затем, диск рулетки, по которому катятся ширки, разделен на двенадцать равных отделений, каждое из которых снабжено особою надписью, имеющею отношение к жизни человека — «родители», «брак», «прибыль» и т.д. Равным образом и обод разбит на двенадцать отделений, с фантастическими знаками в каждом из них: водолеем, львом, скорпионом и т.д. Желаящий узнать свою судьбу приводит рулетку в движение. Это движение двойное: двенадцать отделений диска быстро меняют свое положение относительно двенадцати отделений обода, но и семь шариков точно так же меняют свое положение по отношению к тем и другим. Наконец рулетка остановилась; голубой шарик занял место во «льве» против «прибыли», серебряный — в «рыбах» против «странствий», красный вместе с черным — в «скорпионе» против «детей» и т.д. Если мы теперь знаем значение каждого из шариков и каждого из фантастических знаков, то мы, комбинируя их со значением отделений диска, можем приняться за гадание.

Такова, во всей своей простоте, основная схема греческой астрологии: читатель, конечно, догадался, что в небесной рулетке семи шарикам соответствуют семь планет с их семью отчасти действительными, отчасти символическими цветами; равным образом ободу с его двенадцатью фантастическими знаками — зодиак. Что касается диска, то это — «двенадцатидомный» круг человеческой жизни, представляющий из себя произвольный, но необходимый вымысел астрологов. Имена планет и знаков зодиака, движение тех и других — все это было обнаружено и вычислено научной астрономией отчасти древних вавилонян, отчасти же и греков, которые именно в нашу эпоху находились в зените своей научной славы. Все это перешло из астрономии в научную лабораторию астрологии; но затем астрология благодарит астрономию за оказанную ей помощь и просит ее в дальнейшее не вмешиваться: с этим дальнейшим она рассчитывает справиться сама при содействии мифологии и мистической математики пифагоровой традиции. Действительно, теперь предстояло главное: на нерушимом основании догмата всемирной симпатии построить систему влияний небесных светил на людские дела. Влиять могли они только — это было ясно — сообразно со своими собственными качествами, которые надлежало таким образом определить. Казалось бы, этим затронута область астрофизики, т.е. одной из дисциплин научной астрономии; но на самом деле астрология прекрасно сумела обойтись без услуг этой тогда еще зачаточной науки. В силу своего наивного материализма она, наскоро, своими средствами соорудив чрезвычайно

зыбкий астрофизический фундамент, воздвигла на нем здание совершенно фантастической астропсихологии — здание, просуществовавшее тем не менее двадцать веков.

Нетрудно понять, что для строго научной системы влияний нужно было установить, во-первых, их качественную, во-вторых, их количественную сторону; раз обе эти стороны для каждой звезды определены — остальное будет делом комбинации, метод которой может быть уже вполне рациональным. Скажу теперь же, что именно этой рациональности комбинационного метода астрология была обязана тем обаянием, которое окружало ее в глазах даже рассудительных людей: пораженные красивой стройностью астрологических диаграмм, безошибочностью и определенностью астрологических вычислений, они склонны были забывать о произвольности самых элементов этих диаграмм и вычислений — тем более что для них он был освящен глубокой древностью... Все это необходимо было предпослать теперь же — для того, чтобы читатель снисходительно отнесся к нелепости тех астрофизических и астропсихологических элементов, к изложению которых мы переходим теперь.

VII

Говоря о качествах небесных светил, можно было понимать это слово либо в общем, либо в индивидуальном значении. С первой точки зрения нужно было условиться только в том, какие звезды считать благодетельными и какие вредными, со второй — дифференцировать общее понятие пользы или вреда в смысле сообщения человеку того или другого физического или душевного преимущества или изъяна. Безусловно необходимо было только первое различие, без которого астрология теряла всякий смысл; что касается второго, то без него в крайнем случае можно было обойтись, так как специализация понятия «польза» или «вред» могла быть достигнута другим способом: для определения «генитур» (vulgo — гороскопов) имелся с этой целью двенадцатидомный круг жизни, что же касается «инициатив» (т.е. решения вопроса, благоприятен ли данный момент для того или другого дела), то тут самый характер вопроса, с которым обращались к небесным руководителям, определял заодно и специальный смысл получаемого ответа. Вот почему только общее качественное различие было возведено в основной непреложный догмат, по которому ни разногласия, ни колебаний не было. Согласно этому догмату, Солнце и Юпитер были безусловно благодетельными. Марс и Сатурн — безусловно вредными планетами, Венера и Луна были благодетельны, только в более слабой степени; что касается Меркурия, то это — планета изменчивая, легко сама подпадающая влиянию тех, в обществе которых она находится.

Откуда же эта странная и на первый взгляд произвольная теория?

Вполне удовлетворительного ответа мы дать не можем; за вычетом тех разумных (относительно) соображений, которые тотчас будут приведены, все-таки получается иррациональный остаток, в котором мы можем подозревать либо неуловимое влияние халдейских традиций, либо произвол писавшего под покровом вымышленной древности автора системы. Разумные основания заключаются в следующем. Во-первых, в действительных качествах наблюдаемых светил. Так, относительно благодетельности Солнца, источника всякой жизни, никаких сомнений быть не могло; Юпитер внушал любовь и уважение к себе своим мягким, полным, слегка розовым, по мнению древних, блеском, равно как и царственной величавостью своего плавного течения. Наоборот, Марс с его багровым сиянием наводил страх на людей, а его порывистые движения по зодиаку изобличали в нем страстный, гневный характер; точно так же и желтое око Сатурна сулило людям недоброе, а его старческая медленность заставляла предполагать в нем степенного и осторожного, но не участливого бога.

Во-вторых, были и соображения чисто физического характера, хотя вероятно, что они явились лишь позднее, ради якобы научного обоснования уже получившей

распространение теории. Сюда относятся стихийные принципы Аристотеля — жара и холод, сушь и влага. Солнце — источник жары, земля — влаги; жар, умеряемый влагой, рождает жизнь. На этом шатком основании покоится теория планетных влияний, освященная великим именем Птолемея. Сатурн, будучи далек и от Земли, и от Солнца, — холоден и сух, а потому вреден; Марс, вследствие близости к Солнцу, жарок и сух, а потому тоже вреден; Юпитер тепел и влажен, и потому благодетелен; то же относится и к Венере; само Солнце жарко, но его жара умеряется влагой, получаемой от Земли; Луна холодна и влажна, Меркурий неуловим. Нечего настаивать на изъянах и непоследовательностях этой теории — они вполне естественны в веровании, стремящемся принять вид науки.

Количественное различие планет имеет своим основанием их относительную силу или слабость; сила и слабость определяются — тут мы еще более углубляемся в область абсурда — либо полом планеты, либо ее положением. С точки зрения пола планеты распадаются на мужские (Солнце, Юпитер, Марс, Сатурн) и женские (Луна и Венера). Что касается Меркурия -Гермеса, то он разыгрывает роль Гермафродита, являясь мужчиной среди мужских и женщиной среди женских планет; вообще, по странной иронии судьбы планета бога мудрости была избрана орудием для самых иррациональных конструкций. Положение планеты в значительной степени определяется занимаемым ею в зодиаке местом, о чем речь будет ниже, но в известных отношениях оно от него независимо. Так, прежде всего, планеты распадаются на две секты: дневную, под главенством Солнца, и ночную, под главенством Луны; члены дневной секты бывают сильнее днем, чем ночью; члены ночной — наоборот. Затем: "мужские планеты как бы теряют свой пол на западном небосклоне вечером, заходя после солнца; женские теряют его на восточном при требуемых симметрией условиях. Затем предполагается, что (кажущаяся) регрессия неблагоприятно действует на планеты, причем благодетельные в значительной мере теряют свои благотворные качества, относительно же зльк традиция двоятся: по иным, они равным образом слабеют в своей губительной энергии; по иным, вынужденное отступление их раздражает, так что они еще более прежнего свирепствуют. Но довольно об этом; обратимся к зодиаку, которому пришлось еще в большей степени испытать на себе силу бесстрашной перед абсурдом фантазии астрологов.

Мы вряд ли ошибемся, усмотрев влияние нивелирующей систематичности стоицизма в странной попытке астрологов распространить также и на знаки зодиака качественные различия планет; при этом та небольшая доля разумности, которую можно было признать за характеристикой планет, пропала окончательно. Мы еще можем вдуматься в теорию, согласно которой Марс, воссияв при рождении мальчика, вдохновляет его пылкостью и отвагою, а Венера вливает в девочку чары обольстительной красоты и т.д.; это совершенно в духе поэтической фикции Горация: *quern tu, Melpomene, semel nascentem placido videris...* Но представим себе кого-нибудь, задавшегося целью проследить такие же воздействия на человека, например, Рака или Скорпиона, Тельца или Козерога! И все же астрологическая фантазия, последовательная до самоотвержения, и перед этим абсурдом не отступила; приведем ради пробы прогноз для рождающихся под знаком Овна. Они будут иметь успех, если займутся обработкой шерсти — причина ясна; они нередко будут заливаемы волнами бедствия — так ведь и того златорунного барана заливали воды Геллеспонта; они будут людьми робкими и недалекими, но в то же время вспыльчивыми, с тонкими блеющими голосами — подобно настоящим баранам, и т.д. Это нам серьезно говорит серьезный поэт первых времен империи, Манилий; но далеко ли от этой его премудрости до забавной пародии, которую сатирик Петроний, двумя поколениями позже, вливает в уста своей наиболее удачной фигуре, отпущеннику Трималхиону? Вот что этот последний преподносит своим неприятельным по части учености гостям, показывая им шуточное воспроизведение зодиака на обеденном блюде — привожу его слова в переводе И.И.Холодняка, дающем представление также и о своеобразном языке римского толстосума: «Извольте видеть: вон это — небесы, а на них

целая дюжина богов сидит. Вот, значит, как вертятся они, двенадцать обличьев и выходит. К примеру — Баран вышел; ладно! Кто, значит, родился под тем бараном, у того и скотины много, и шерсти; голова крепкая, рожа бесстыжая! не попадайся такому: забодает! Вот об эту пору школяров много родится, да тех, что барашком завиты... Ну, а там, значит, из небесов и Теленок выходит: народ тут же брыкливый родится, да пастухи, да разные вольно-промышленники. А когда Двойни выдут — родятся повозки парой, да быки, да двойчатки, да те еще, что «и вашим, и нашим». А под Раком я сам родился: вот и стою я крепко да цепко, и имения у меня много и на море, и на земле; рак-то ведь и туда и сюда годится... А на Льва родятся все обжоры да командиры разные, на Деву — бабье всякое, да беглые, да те, кому на цепи сидеть; а как Весы выдут — родятся все мясники да москательщики, да хлопотуны разные, а на Скорпиона — Боже упаси — родятся такие, что и отравить, и зарезать человека готовы; на Стрелка — пойдут все косоглазые, у кого один глаз на нас, а другой на Кавказ; на Козерога — все бедняки, у кого с горя шишки растут; на Водолея — все трактирщики, да головы тыквой; ну, а под Рыбами — все повара да говоруны разные. Вот и вертится небо как жернов, и все какая-нибудь дрянь выходит: то народится человек, то помрет» (гл. 39).

Та же мания нивелировки повела к тому, что и знаки зодиака были разделены на мужские и женские. Эта попытка была для астрологии пробой огня, и она ее выдержала если не блистательно, то все же с достаточным для верующего человека успехом. Дело в том, что свободы выбора тут не было: мистическая арифметика, освященная именем Пифагора, заранее объявила нечет мужским, а чет женским, и порядок созвездий тоже был установлен заранее: надлежало начинать с Овна, знака весеннего равноденствия. Итак, мужскими должны быть: Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей; если снисходительно отнестись к Весам, как безразличным в отношении пола, то проба вышла на славу. Сомнительнее обстояло дело с женской половиной, обнимавшей по необходимости четные созвездия — Тельца, Рака, Деву, Скорпиона, Козерога и Рыб. Очень приятным было присутствие Девы в этой группе; Козерог тоже был на своем месте — люди умные знали, что это была первоначально коза - рыба, каковой ее и изображали иллюстрированные диаграммы; Рака с Рыбами и Скорпиона можно было в крайнем случае объявить самками — кто их разберет! Но что тут было делать с Тельцом? Вера находчива: Пифагор ни в каком случае не может ошибаться. Обратите внимание на изображение Тельца: видна одна только передняя половина (причина указана выше, гл. III). А если так, то что мешает нам признать его телкой?.. Сказано — сделано; но астрономия отнеслась с полным пренебрежением к бредням своей блудной дочери, и последней пришлось поневоле, чтобы оставаться понятной, и впредь называть Тельца Тельцом, хотя и разумея под ним телку.

VIII

Астролог, однако, имеет дело не с планетами или знаками зодиака в отдельности, а с комбинацией тех и других. При этом комбинации планеты играют роль непосредственно действительных сил, между тем как знаки зодиака только влияют в качественном или количественном отношении на их действительность. Качественная модификация очень любопытна с точки зрения популярной астрологии, давая обильную пищу фантазии гадателей: легко представить себе, что зловредный Марс будет производить совершенно другое действие, находясь в созвездии насильника - Льва или коварного Скорпиона, чем когда его пыл будут охлаждать Рыбы или умерят чаши Весов девы - Правды. Но в сохранных нам научных изложениях этот пункт мало развит; астрологи как будто стыдливо чураются метода, доступного также и всяким невежественным Трималхионам. Тем с большим усердием развили они разновидности количественного влияния на силу планет их положения в зодиаке; дошли они при этом до таких тонкостей, что у непосвященного читателя, при разборе их построений, ум за разум заходит, и он начинает

подозревать, что именно в этом действии и заключается смысл всей системы, — другими словами, что чиновники астрологической науки нарочно постарались ее загроздить произвольными и головоломными теориями, чтобы она не могла сделаться достоянием более широкого круга людей.

Мы за ними, разумеется, в самые дебри их науки не последуем; боюсь, что уже те теории, которых придется по необходимости коснуться в этой главе, послужат достаточно убедительным доказательством только что сказанному. Это будут теория жилищ (*domicilia*), теория экзальтации и теория аспектов.

Руководящий принцип этих теорий состоит в необходимости найти какие-нибудь регулятивы для оценки влияния всех планет на какого-нибудь человека или какое-нибудь дело. Для этого нужно было поставить их в условия взаимодействия, определяя как преобладающее положение той или другой из них, так и сочувственное или несочувственное влияние на «господствующую» планету остальных. Первые две теории служат преимущественно первой из этих двух целей, последняя — второй.

Итак, прежде всего — теория жилищ. Ее основное положение гласит так: каждая планета в одном (или в двух) из знаков зодиака находится, так сказать, у себя «дома»; равным образом каждый знак служит жилищем одной какой-нибудь планете. Находясь дома, планета «радуется»; эта радость сообщает ей сугубую силу, увеличивая благодетельность добрых и вредность злых. Легко понять, какую благодарную тему для насмешек эта «теория жилищ» дала врагам астрологии: как у планет, этих бродяг среди звезд, оказываются определенные местожительства? — Пришлось придумать какое-нибудь объяснение: ведь самое слово «планета» (*planetes* от *planasthai* — «блуждать») было протестом против всякой попытки их прикрепления. Объяснение нашлось довольно убедительное на первый взгляд. Конечно, планеты теперь безостановочно блуждают, но ведь это их движение когда-нибудь же началось. Так вот, те знаки, которые планеты занимали в то время, когда таинственная рука привела их в движение, — эти знаки и являются для них точно родными очагами. Это было очень заманчивое объяснение, но... презрительная улыбка гиганта греческой философии, Аристотеля, подрывала всякое доверие к нему. «Движение небесного свода никогда не имело начала — оно предвечно», — учила перипатическая школа, и конечно, не астрологии с ее легковесным научным багажом было опровергать это учение. Его можно было только игнорировать, что она и делала порой — причем судьба сулила ей такой успех в будущем, о котором она и мечтать не смела. Действительно, пришло время, когда начало всемирного движения стало обязательным догматом верующих; когда рука Творца украсила небесный свод звездами, она должна была и планеты разместить в определенных местах зодиака, по которому они движутся ныне. Так-то астрологическая теория жилищ получила высшую санкцию, на какую она только могла рассчитывать; *thema mundi* языческих звездочетов стало иллюстрацией к Книге Бытия.

Присмотримся ближе к этому *thema mundi* и основанной на нем теории жилищ; мы найдем в ней ту же смесь остроумных (если не разумных) выводов и комбинаций с произвольными и сумасбродными домыслами. — Если вы согласны, — говорили астрологи, — что Солнце обнаруживает наибольшую силу в знаке Льва (т.е. в июле месяце, по-нашему), то как можете вы не допускать такого же усиления, в связи с положением в зодиаке, и для других планет? Вывод опять-таки очень заманчивый; устранив возражения противников, адепты спорной науки объявили пока знак Льва жилищем Солнца, а затем стали искать приличных обиталищ также и для остальных. Было ясно, прежде всего, что началом мира было новолуние — иначе как объяснить, что и месяц, и (лунный) год с него начинаются? Это значит, что Луна была в ближайшем соседстве с Солнцем, — стало быть, либо в Раке, либо в Деве; в пользу Рака говорит то обстоятельство, что Солнцу и Луне, как предводителям обеих сект, дневной и ночной, естественно было поделить между собой и зодиак на две равные части и что было гораздо разумнее провести грань между Раком и Львом (причем Луне достались бы месяцы январь

— июнь, а Солнцу июль — декабрь), чем между Львом и Девой. Далее: Меркурий никогда далеко от Солнца не отходит — ему поэтому место в Деве... Но прежде чем идти дальше, необходимо ознакомиться еще с одним соображением наших иерофантов. Дело в том, что знаков двенадцать, планет же семь; пристроив каждую планету, мы получим в остатке пять пустых знаков, что будет явной несообразностью и сделает невозможными рациональные астрологические вычисления. Нельзя ли поэтому допустить — благо мы получили по серии дневных и ночных знаков, — что и каждая планета имеет два жилища, дневное и ночное? Солнце и Луна, разумеется, в счет не идут: было бы странно назначать Солнцу, творцу дня, ночное жилище; остальные же пять планет прекрасно заполняют пять пустых знаков, что и послужит подтверждением всей теории. Конечно, можно спросить: как же быть тогда с нашим *thema mundi*? Ведь в момент великого толчка каждая планета занимала только одно место, а не два! Но... где же принято, чтобы верующие ставили щекотливые вопросы?

Итак, дав Меркурию дневное жилище рядом с Солнцем, в Деве, мы должны дать ему еще ночное рядом с Луной, в Близнецах, — этого требует симметрия. Ближайшая к Солнцу планета после Меркурия — Венера; ее дневное жилище поэтому рядом с Девой, в Весах, а ночное — рядом с Близнецами, в Тельце. После Венеры — Марс; пристроим его на день рядом с Весами, в Скорпионе, а на ночь — рядом с Тельцом, в Овне. После Марса — Юпитер; отведем ему, по тем же принципам, Стрельца и Рыб и равным образом Сатурну — Козерога и Водолея ([Смотрите схему]).

Теперь, скептики, полюбуйтесь на стройность нашей системы и устыдитесь ваших сомнений. Мы распределяли планеты по знакам, руководясь вполне определенным, не допускающим колебаний принципом — их расстоянием от Солнца (расстоянием, замечу мимоходом, зодиакальным, а не действительным, которого тогда еще не знали); посмотрите, однако, какие прелестные совпадения при этом получились. Можно ли было лучше пристроить Марса, чем у бодливого Овна и злобного Скорпиона, или зиждательницу Венеру лучше, чем в доме Тельца — или, говоря правильнее, телки — этого символа зиждательной силы природы? Где холодный Сатурн будет чувствовать себя лучше, чем в обоих зимних знаках, Козероге и Водолее? Но это еще не все: послушайте дальше, и вы будете поражены. Марс живет в Овне, а Овен — знак какого месяца? Не марта ли (*Martius* от *Mars*)? Венера-*Aphrodite* помещена в Тельце, месяц которого, *Aprilis*, своей явной этимологией указывает на богиню, в честь которой он назван. Меркурию достались Близнецы, знаки месяца мая; а май от кого получил свое имя, как не от Май, матери Меркурия? Луна получила Рака, созвездие июня; а это вы, конечно, знаете, что *Junius* назван так в честь Юноны и что эта римская Юнона тождественна с Луной! Сатурна приютил Козерог, знак декабря; что же, знал об этом римский законодатель, когда он отвел месяц декабрь Сатурну и его главному празднику, веселым сатурналиям? Я ничуть не приглашаю читателя принять на веру предложенные здесь, отчасти рискованные, этимологии; достаточно того, что сами римляне считали их правильными. А с их принятием совпадения действительно становятся поразительными; Буше-Лек-лерка они даже навели на мысль, что реформа римского календаря состоялась под влиянием астрологических соображений и специально теории жилищ.

Менее интересна вторая из указанных теорий — теория экзальтации и депрессий. Ее основное положение — то же, что и в теории жилищ, с прибавлением отрицательного элемента: а именно, есть в зодиаке места, в которых планеты обретают наибольшую силу, и, наоборот, такие, в которых они ослабевают до минимума; места экзальтации отчасти совпадают с жилищами, отчасти же нет, причем никакого разумного принципа установить не удалось. Насколько можно догадаться, мы имеем в теории экзальтации теорию, первоначально конкурировавшую с теорией жилищ (вероятно, с целью эманципировать астрологию от сомнительно *thema mundi*), а затем — как это нередко бывает в истории верований с чересчур влиятельными ересями — благодушно принятую, наравне с нею, в общую систему. Факт тот, что астрология пользуется на одинаковых правах и теорией

жилищ, и теорией экзальтации, о популярности же этой последней достаточно свидетельствует самое слово «экзальтация», перешедшее во все культурные языки именно в его астрологическом смысле — усугубления душевной энергии.

Зато третья теория — теория аспектов — требует нашего полного внимания, как один из главных рычагов всей астрологической динамики и вместе с тем как любопытнейший результат вторжения в астрологию математического мистицизма Пифагора. Планеты действуют не только на Землю и на ее обитателей, но и друг на друга; это — прямой вывод из догмата всемирной симпатии, относящийся к нему точно так же, как теория пертурбаций относится к догмату всемирного тяготения. Остается определить пути этого взаимодействия — и вот на этот вопрос отвечает сокровенная математика, отвечает священный характер основной цифры мироздания, двенадцатницы. Зодиак, этот вечный путь планет, разделен своими знаками на двенадцать этапов; пользуясь этими двенадцатью точками, мы можем (ввиду делимости числа 12 на 2, 3, 4, 6) вписать в круг зодиака правильные шестиугольник, четырехугольник (т.е. квадрат), треугольник и двуугольник (т.е. диаметр). Возьмем созвездие Льва: проводя от него диаметр, мы натолкнемся на Водолея; вписав правильный треугольник с одним углом во Льве, найдем в обоих остальных углах Овна и Стрельца; вписав квадрат — Тельца, Водолея и Скорпиона; вписав шестиугольник - Близнецов (Овна, Водолея, Стрельца) и Весы. Это значит, выражаясь астрологически, что Лев находится с Водолеем в диаметральном (супротивном) аспекте, с Овном и Стрельцом — в тригональном, с Тельцом и Скорпионом — в квадратном и с Близнецами и Весами — в секстильном. Всего, значит, семь созвездий, с которыми Лев находится в аспекте; семь исходящих от него лучей — блестящее подтверждение священного характера пифагоровой седмицы и вместе с тем основание тех семи лучей света, которые мы встречаем еще в христианском искусстве. Что касается остальных четырех знаков — обоих смежных, Рака и Девы, и еще Рыб и Козерога, — то они, не состоя со Львом ни в каком аспекте, для него «безразличны» (см. чертеж 2).

Не все эти четыре аспекта одинаково благоприятны и сильны. Читатель не забыл деления знаков зодиака на мужские и женские; теперь ему не трудно будет убедиться, что секстильный и тригональный аспекты соединяют между собою знаки одного пола; напротив, квадратный — различных. Отсюда следует, что первые два аспекта благоприятны, последний — неблагоприятен; над этой логикой можно смеяться сколько угодно, но принцип в ней несомненно есть. Далее: секстильный и тригональный аспекты, будучи оба благоприятны, не одинаково сильны. Действительно, мы тем ярче различаем предметы, чем более они находятся против нас; тригональный луч поэтому сильнее бокового, секстильного. Теперь следовало бы ожидать, что диаметральный аспект, соединяющий созвездия того же пола под самым сильным лучом, окажется в высшей степени благоприятным аспектом; но тут астрологические школы разошлись. Одна, в угоду последовательности, признала этот принцип; но другая заметила, что соединенные диаметральным аспектом созвездия находятся в оппозиции друг с другом. Может ли оппозиционное настроение быть в то же время дружелюбным? Это соображение показалось решающим, и диаметральная аспект был причислен к враждебным — каковой привкус «диаметральная противоположность» сохранила и поныне.

Читатель согласится, что развитая здесь теория аспектов добыта совершенно независимо от теории жилищ; теперь пусть он вернется к этой последней — он не преминет заметить целый ряд новых совпадений. Солнце живет во Льве; рядом с ним, в Деве, безразличный Меркурий — в смежном, стало быть, безразличном созвездии. Далее, в Весах, Венера, благодетельная, но слабая планета, — под слегка благоприятным секстильным аспектом. Еще далее, в Скорпионе, зловредный Марс — под безусловно враждебным квадратным аспектом. Затем в Стрельце самая благодетельная из всех планет. Юпитер, — под самым благоприятным из всех аспектов, тригональным. Наконец, в Козероге и Водолее недоброжелательный Сатурн — под аспектом отчасти

безразличным, отчасти диаметрально, следовательно враждебным. На такие совпадения следует обращать внимание; ими объясняется убедительность теории для ее адептов, а с нею и ее обаяние, и живучесть.

Но в чем же заключается польза, которую астрология извлекла из этой мистической геометрии? В том, что она давала ей возможность комбинировать влияния даже отдельных друг от друга, даже находящихся выше и ниже горизонта планет. Без этой возможности арсенал астролога был бы очень беден, и им пришлось бы во многих случаях просто отмалчиваться на обращенные к ним вопросы; планет всего семь — очень легко могло бы не оказаться ни одной в восходящем и поэтому особенно важном для вопрошающего созвездии; да и если бы оказалась одна, то ее всем известное значение не нуждалось бы в таланте и учености астролога для своего истолкования. Теперь не то. Даже в совершенно пустом созвездии мы тем не менее найдем излияния если не всех, то большей части планет, и эти излияния, сами по себе очень неодинаковые по своим свойствам и силе, будучи комбинированы, дадут очень сложное и далеко не каждому доступное построение. Вы нашли в восходящем созвездии Юпитера — не торопитесь радоваться. Конечно, если это созвездие — Стрелец, Рыбы или Рак, т.е. жилище или место экзальтации светлого бога, то это хороший знак: сам радостный, он и вас постарается обрадовать. Но что, если это будет Козерог, место его депрессии? Утомленный, немощный, он не сможет уделить вам своих благодетельных лучей. Но пусть он будет в хорошем созвездии: все же нужно предварительно удостовериться, что остальные планеты не будут противодействовать его добрым намерениям. Особенно опасно влияние обоих *malefici* — Марса и Сатурна. В каком аспекте находятся они по отношению к стоящему, скажем, в Раке Юпитеру? Допустим, что в тригональном или секстильном — это очень хорошо: находясь в дружелюбном настроении, они придут к нему на помощь, один — своим пылом, другой — своей хладнокровной рассудительностью. Недурно также, если они окажутся где-нибудь в Близнецах или Льве: смежные созвездия безразличны, так что вредные светила будут лишены возможности злоумышлять. Но горе, если мы одного из них найдем в Козероге — особенно Сатурна, который там «живет»: действуя на Юпитера всей силой своих лучей во враждебном диаметрально аспекте, он волеет медленный яд своего коварства в его тихий, целебный свет. Все же это еще полбеды в сравнении со следующей констелляцией: Марс в Овне, Сатурн в Весах — первый в своем жилище, второй в своей экзальтации — оба во враждебном квадратном аспекте, и притом так, что их лучи падают на расстояние менее 7° направо и налево от Юпитера — это значит, что Юпитер «в осаде», связан по рукам и ногам своими злонамеренными противниками. Такой аспект убийствен: он знаменует ряд несчастий и преступлений и раннюю смерть для рождающегося ребенка, верную неудачу для предпринимаемого дела — если только не найдется какой-нибудь благодетельной звезды, Венеры или Солнца, которая под сильным тригональным аспектом бросит свой луч как раз между осаждаемым и одним из осаждающих: этим она снимет «осаду» и возвратит Юпитеру свободу действий. Наоборот, очень благоприятна для вопрошающего такая констелляция, при которой зловредная планета осаждается двумя благодетельными: именно такая неожиданно счастливая констелляция, по поэтической фикции Шиллера, склонила Валленштейна заключить роковой для него союз с врагами его отечества («Смерть Валленштейна», д. 1, сц. 1; пер. Шишкова, местами исправленный):

СЧАСТЛИВЕЙШИЙ АСПЕКТ!

Так, наконец, они сошлись, три
Великие предвестника событий,
И вот две благодатные звезды,
Венера и Юпитер, осаждают
Коварного, губительного Марса
И вредоносца заставляют мне
Служить. Он долго мне враждебен был,

Он ударял багровыми лучами,
То четверным, то супротивным светом,
Отвесно ль, косвенно ль, в мои планеты
И благотворным силам их мешал,
Теперь они врага преодолели
И пленного на небеса влекут.

Так-то можно без преувеличения сказать, что только благодаря теории аспектов греческая астрология стала тем, чем она была в течение веков: чарующей разнообразием своих комбинаций и кажущейся научностью своих вычислений — книгой судеб.

Само собой разумеется, что арсенал астрологической статистики, как мы ее можем назвать, всем этим далеко не исчерпан — мною изложены только три главнейшие из руководящих теорий, да и те только в общих чертах. Но их достаточно для того, чтобы сознательно отнестись к той области астрологической науки, в которой она входит в непосредственное соприкосновение с жизнью, — к области астрологической динамики. Астрологическая динамика обнимает главным образом две отдельные дисциплины — теорию генитур (или генетлиалогию) и теорию инициатив.

IX

Интересно, прежде всего, метафизическое основание той и другой теории: на первый взгляд может показаться, что мы имеем дело с противоречием. Теория генитур учит нас определять судьбу человека, жизнь которого началась под той или другой конstellляцией; что нам скажут звезды, то и исполнится, как бы ни старался человек пересилить, перехитрить или переумолить судьбу. Здесь поэтому мы стоим на почве не только детерминизма, но и прямо фатализма. Напротив, инициатива имеет основанием возможность выбора для человека. Прежде чем решиться на какой-нибудь важный поступок, я спрашиваю астролога, благоприятствуют ли ему звезды; если я его совершу, то совершится и то, что астролог прочел в своей диаграмме, но я могу его и не совершить — предсказание дается здесь в чисто условной форме. В моих руках шар; если я его брошу, то он полетит в уже данным звездами направлении, изменить которое я не властен, — но я могу его не бросить. При более внимательном разборе это противоречие как будто устраняется. В сущности, генитура — та же инициатива, только примененная к акту рождения человека. И здесь формально возможна и условная постановка ответа: если ребенок родится при данной конstellляции, его судьба будет такая-то; допуская, что он мог бы и не родиться при ней, предсказание звезд теряет свою силу. В том, что эта условность чисто формальная, виноваты не звезды, а независимые от них физиологические законы; а впрочем, если примкнуть к методу тех, которые при установлении генитур рождение заменяют зачатием (о чем ниже), то и формальная условность заменяется реальной — генитура сводится всецело к инициативе, переходя из области абсолютного в область относительного фатализма. Но стоит вникнуть еще глубже в предмет — и противоречие вновь воцаряется, и на этот раз полное, неумолимое, безнадежное. Ведь в моей генитуре заключено и то, что по здравым воззрениям Аристотеля и эллинов вообще составляет главный элемент счастья — многочадие и благочадие. Другими словами, генитура моих детей в зародышевом состоянии находится в моей собственной. А если так, то где же тут хотя бы и формальная условность? Далее: раз моя судьба предопределена, то предопределены все мои поступки, тем более важные; какой же смысл имеет тогда инициатива? Звезды не могут меня предостеречь, а только предсказать мне вместе с моим неизбежным поступком и его неизбежные последствия.

Решение этого труднейшего вопроса было не по силам астрологии; она предоставила его своей покровительнице и союзнице, стоической философии, — и тут мы возвращаемся к теме, затронутой в IV главе. Из стойков некоторые, а именно самые глубокие, последовательные и неустрашимые умы, ответили на наш вопрос серьезно и

безжалостно: да, боги предопределили судьбу человека во всех ее частностях. Но можно ли в таком случае ее узнать? Можно — мы видели, почему именно стоицизм дорожил этой возможностью. А узнав ее, можно ее изменить? Нет, конечно. Но для чего же тогда ее узнавать? Для того, чтобы ей заранее покориться с достойным мудреца бесстрашием, ибо *volentem dusunt fata, nolentem trahunt*.

Отсюда практический вывод для астрологов: занимайтесь сколько угодно генитурами — благо вы тут имеете дело с пущенным уже шаром, — но не касайтесь инициатив. Ваш клиент только высмеет вас, если вы ему истолкуете ответ звезд в такой форме: «Ты отправишься сегодня морем в Египет и на пути туда утонешь»; он преспокойно останется в Риме — и не утонет. Понятно, что астрологи не могли примириться с учением, которое отнимало у них большую половину их клиентов. А так как, с другой стороны, и стоицизм не желал жертвовать своим союзом с астрологией, то состоялся компромисс. Были установлены тонкие различия между необходимостью (*ananke necessitas*), роком (*heimarmene, fatum*), судьбой (*perromene, sors*) и тд. — казуистика вышла довольно сложная, смотря по численности и силе обстоятельств, умеряющих абсолютизм предопределения. Как всегда бывает в подобных случаях, воля восторжествовала над рассудком и инициативы были спасены.

Но если по вопросу об инициативах астрология имела дело с покладистой метафизикой, то по вопросу о генитурах она натолкнулась на совершенно неожиданное сопротивление со стороны точных наук. Как ни естественно, с точки зрения непосредственного чувства, то представление, которым так охотно занимались поэты, — от Горациева: *quein tu, Melpomene, semel nascentem placido lumine videris* — и до новейшей польской песенки: *o gwiazdeczko, cos bfyzafa, gdym ja ujrzaf swiat* (о звездочка, блиставшая, когда я увидел свет), — на чем было оно, строго рассуждая, основано? На догмате всемирной симпатии, отвечает астрология. Разнообразные излияния божественных планет, действующие и непосредственно, и под углами своих различных аспектов, взаимно усиливая и умеряя друг друга, сосредоточиваются на рождающемся младенце и кладут этим неизгладимую печать на него, определяя его наружность, характер и судьбу. Тут эмбриология — которая была в те времена сама в эмбриональном состоянии, но все же знала много неизвестного простым смертным — ставила с виду наивный вопрос: но как же вы объясняете, что у близнецов, родившихся в одно и то же время и получивших поэтому одну и ту же астральную печать, бывают тем не менее различия и в наружности, и, чаще, в характере, и, еще чаще, в судьбе? Астрология с улыбкой сострадания показывает противнице вертящееся гончарное колесо. «Попробуй, — говорит она ей, — два раза подряд очень быстро брызнуть чернилами на его окружность!» Колесо остановилось. «Видишь? Чернильные пятна оказались на далеком расстоянии одно от другого. Небесный же свод вращается несравненно быстрее этого колеса; и ты удивляешься тому, что у рождающихся — ведь все же один после другого — близнецов оказываются различные конstellации, различные генитуры?» На это сравнение — сравнение знаменитое, доставившее его автору, Нигидию, прозвище «Гончар» (*Figulus*), — эмбриология с притворным смирением ничего не отвечает и ставит другой вопрос, на этот раз очень серьезный. «Ты говоришь — печать; но ведь печать вовсе не налагается в момент рождения. У рождающегося младенца наружность та же, что и несколько секунд до рождения: уже если говорить о роковом решающем моменте, когда налагается печать, то им будет момент зачатия, а не рождения». Да, это возражение веское; спасибо за наставление. Что же, будем ставить генитуру по моменту зачатия. «Интересно знать, как вы это будете делать?» Астрология смущена: действительно, затруднения серьезные. Что же, родители укажут. «В самом деле укажут с точностью минуты и секунды? Посмотри на гончарное колесо: одной секундой раньше или позже — и вся конstellация другая, генитура никуда не годится!» — «А ты посмотри, что говорит божественный Петосирис: *Veteres Aegyptii semel in mense hora praelecta cum uxoribus consumbebant; itaque cum paragationis tempore conceptionem factam esse cognoverant, illam*

horam ut genitalem signabant. Конечно, это дело родителей; но во всяком случае дана возможность определить момент...» — Момент чего? — коварно спрашивает эмбриология. «Конечно, зачатия». — Ошибаешься: только совокупления. А зачатие совершается уже затем, неощутимо, в неопределимый, иногда довольно долгий срок.

Возражение на вид убийственное, на деле же очень выгодное для астрологов; они, как и вообще оккультисты, рады всему, что расширяет область неопределимого. Неопределим тот момент для медицинской науки; для астролога же он, благодаря средствам его науки, оказывается вполне определимым. Солнце — источник всякого бытия; Луна — специально богиня родов и женской половой жизни, почему греки и отождествляли ее с Артемидой, а римляне — с Юноной (Juno Lucina). Отсюда следует (по крайней мере по астрологической логике), что в момент зачатия Луна была в том же положении относительно Солнца, как и в момент рождения; зная второй, можно с математической точностью определить первый. Что это верно, это доказывается следующим обстоятельством, необъяснимым для медицинской науки, но вполне объяснимым для астрологии. Медики признают доношенным ребенка, который рождается в течение десятого (лунного) месяца; они признают затем, что недоношенный ребенок жизнеспособен, если он рождается в течение восьмого, и нежизнеспособен, если он рождается в течение девятого месяца (это, действительно, тогда признавалось, да ныне многими признается). Как объяснить эту меньшую крепость более зрелого плода? Вот как: в восьмом месяце Луна находится в тригональном аспекте с тем созвездием, в котором она находилась в момент зачатия, — стало быть, в благоприятном; в девятом месяце, напротив, в квадратном — тут она враждебно смотрит на свое собственное дело и рада вредить ему; наконец, с начала десятого месяца она вступает опять в благоприятный, секстильный аспект — и ребенок вне опасности.

Понятно, что после этого урока эмбриологии осталось только сконфуженно предоставить поле победительнице — генитура была спасена. Но этим пока только принцип установлен; спрашивается: как применять в частности вышеизложенные теории астрологической статики к ожидающей решения практической задаче?

X

Вернемся для этого к нашей рулетке.

В ней было три составные части. Во-первых, разноцветные шарики — это планеты. Во-вторых, обод с его двенадцатью отделениями, обозначенными фантастическими символами, — это зодиак. Мы можем теперь, на основании сказанного в VIII главе, несколько изукрасить его край и его поверхность. Прежде всего мы соединим отделения между собой линиями, которые образуют в диске шесть диаметров, четыре треугольника, три квадрата и два шестиугольника, согласно вышеизложенным четырем аспектам; далее мы в каждом отделении намалюем те планеты, жилищем, экзальтацией или депрессией которых оно является. А затем обратим внимание на третью составную часть нашей рулетки.

Мы ее уже называли выше. Это тот диск, по которому катятся шарики, его имя — круг генитуры. И он, подобно зодиак, разделен на двенадцать частей; но эти части ~ «места» или «дома», как их технически называют, — отмечены именами, имеющими непосредственное отношение к человеческой жизни[1]. В те времена, когда люди щадили свою и чужую память и не совали своей амбиции туда, где ей не место, нашлась поэтическая полезность, уложившая весь этот комплекс двенадцати домов в следующее, сравнительно недурное двустишие:

Vita, lucrum, fratres, genitor, nati, valetudo,
Uxor, mors, pietas, regnum, benefactaque, career.

Порядок довольно сумбурный, система сомнительного достоинства; объясняется это для верующих тем, что боги не подчинены законам человеческой логики, а для

неверующих — тем, что наш круг явился компромиссом между несколькими (по крайней мере тремя) различными построениями. Этот вопрос, как слишком специальный, мы оставляем в стороне; берем только то, что не посредственно связано с самой душой астрологии.

Перенося нашу рулетку с земли на небо, мы превращаем наш двенадцатидомный круг генитуры в неподвижный обруч, по которому скользит зодиак с его знаками и планетами. Этот обруч одной своей половиной находится под землей, другой — над нею; тот пункт на востоке, где горизонт его пересекает, отделяя подземную часть от надземной, называется гороскопом. Гороскоп, таким образом, — твердая точка в кругу генитуры; «поставить гороскоп» — значит определять тот градус в движущемся зодиаке, который в минуту рождения ребенка соответствовал гороскопу круга генитуры. Раз гороскоп определен — остальное может быть вычислено с математической точностью.

Гороскоп, таким образом, самый важный пункт круга генитуры, один из его четырех «центров»; остальные три — верхнее преполовение, закат и нижнее преполовение. Они сами собою сильны; из остальных восьми домов шесть сильны покровительством шести из семи планет, которые витают в них, так сказать, *incognito*, под разными псевдонимами — как «бог» и «богиня» (т.е. Солнце и Луна), «добрый» и «злой гений» (Юпитер и Сатурн), «добрая» и «злая судьба» (Венера и Марс), — причем человеческой логике сделана хоть та уступка, что бог и богиня и равным образом оба добрых и оба злых начала поставлены в диаметральный аспект друг с другом. В остальном же довольно рискованно углубляться в эту умопомрачительную теорию покровительств, этот неудачный сколок с теории жилищ в зодиаке, которая, если помнит читатель, тоже не отличалась лояльным отношением к закону о достаточном основании.

[Смотрите схему]
Чертеж 3. Круг генитуры (Инициатива Леонтия)

Чего же мы, однако, спрашивается, достигли? Достигли того, что получили возможность гадать. Правда, на практике дело без затруднений не обходится: зодиак ведь не круг, его наклонность — и притом наклонность изменяющаяся — к экватору не дает нам права разделить его на двенадцать созвездий, по 30° каждое; необходимы точные вычисления тригонометрического характера для того, чтобы свести градусы зодиака к градусам круга. Но ведь на то астрологи были *mathematici*; для удобства же непросвещенной братии были издаваемы так называемые «таблицы восходов», трудность которых состояла лишь в том, что они для различных широт были различные. Многие поэтому предпочитали *crassa Minerva* — делить зодиак, подобно кругу, на 12 x 30 градусов; гадать, в сущности, можно было и по этому сокращенному *in usum profanorum* методу.

Но, с таблицами восходов или без них, дело сводилось к тому, чтобы сопоставить части круга генитуры с соответственными частями зодиака и определить влияние планет на каждую из них. Среди конкурирующих планет должна быть выделена «господствующая»; господствующая — та, которая, находясь самолично или путем аспекта в данном знаке, имеет в нем в то же время свое жилище или свою экзальтацию, которая находится в сильно благоприятном аспекте с симпатичными ей планетами той же секты, и т.д. Возьмем, ради примера, девятый дом — тот, который, находясь под покровительством «бога», имеет ближайшее отношение к «религии» новорожденного (*pietas* у нашего поэта) и в то же время — о логической связи лучше не спрашивать — содержит указание на предстоящие ему «странствия». Допустим, что соответствующий знак зодиака — двойной (т.е. Рыбы, Близнецы, Весы); это значит, что на долю новорожденного выпадет сугубая мера скитаний. Допустим, что в этом знаке господствует Меркурий — путешествия будут прибыльны. С Юпитером в соответственном знаке они получают значение царских (или вообще государственных)

командировок; с Венерой — любовных экскурсий; но если господствует Марс, то путешествие грозит опасностью жизни будущего странника. И тут возможны подразделения: Марс в Стрельце — путник подвергается нападению разбойников; Марс в водном знаке — грозит кораблекрушение; Марс в водном человеческом знаке (т.е. Водолей) — опасность от пиратов и т.д. Но мы не приняли во внимание силу господствующей планеты, от которой зависит и сила угрожающей опасности, а равно и помощь или противодействие, оказываемые ей другими планетами. Если в допущенном нами случае Марс в Стрельце будет под благоприятным аспектом Сатурна — странник будет разбойниками убит; если тот же Марс при тех же условиях окажется под враждебным аспектом Меркурия — он спасется ценой выкупа; если под таким же аспектом Венеры — ему предстоят приключения «кавказского пленника»; если Юпитера — его выручат государственные власти и т.д.

Как видит читатель, благодаря кругу генитур, и планеты, и зодиак получили определенный смысл; вся эта разнообразная, но непонятная до тех пор музыка сферических гармоний вылилась, благодаря ему, в понятные и недвусмысленные слова. Мы далеко не исчерпали всего, что могут сказать звезды относительно будущих «путешествий младенца; а между тем рубрика «странствий» — лишь одна из многих, составляющих вместе цикл событий его жизни. Разрабатывая столь же тщательно и другие, астролог получил длинное и подробное повествование о всей его дальнейшей судьбе до самой кончины; от его умелости зависело составить его в таких выражениях, чтобы, в случае опровержения фактами, найти для себя спасительную лазейку.

Действительно, в этом заключалась — как и во всяком ведовстве — великая опасность. Хорошо, если пророчества генитур сбудутся; недурно также, если удастся хоть *post fastum* представить их сбывшимися. Но если они недвусмысленно опровергнуты — астролог должен взять вину на себя. Звезды не лгут, не лжет и бесподобный Петосирис, баснословный египетский жрец, которому молодая Греция (на этот раз скорее из расчета, чем из великодушия) подарила свое детище; но астрологи — люди и по человеческой слабости могут ошибаться. Ошибка же тем легче может быть предположена, чем сложнее система; и вот вторая (после желания сузить круг избранных) и, пожалуй, главная причина сложности астрологической науки. И эта сложность роковым образом должна была расти и расти, повторенные «ошибки» должны были породить мнение, что в самой системе есть незамеченный пробел. Мы вот, определив гороскоп, по порядку сопоставляем дома круга генитур с знаками зодиака; не слишком ли это просто? Другая школа астрологов поступает иначе: она, измерив по зодиаку расстояние Солнца от Луны, отмечает эту дугу по тому же зодиаку и, определив таким образом «клир фортуны», с него ведет счет домам; это — труднее, учение и потому правильнее. Третья этим осложнением не довольствуется: она для каждой рубрики «отец», «мать», «брат», «сестра» и т.д. производит соответствующую пунктуацию путем измерения расстояния между соответственными планетами — Сатурном и Солнцем для отца, Венерой и Луной для матери, Сатурном и Юпитером для брата и т.д.; кто раз научился этому, тот к тому первому, более простому методу не возвращался. Рассудок не протестовал: принеся столько жертв, он уже находился в настроении проигравшегося игрока, ставящего на карту свое последнее имущество, лишь бы только обманчивый мираж успеха хоть раз стал действительностью.

И в этом заключается то, что обезоруживает современного критика античной астрологии. Звезды не лгут — это символ веры, который нельзя было отнять у этих людей, не делая их глубоко несчастными; «Природа продолжила свои пути во многих направлениях, желая, чтобы человек доискивался их самыми разнообразными средствами» — это второе, вспомогательное соображение, оправдывающее не только своего безымянного автора, но и лучшую — если не большую часть всей секты. Попробуем считать дома от клира фортуны; быть может, это один из тех многих путей Природы. В случае успеха будем считать этот путь правильным — в противном случае

будем искать других путей. Неверно поняли люди твою генитуру — научи их; есть в ней ошибки — исправь ее; не можешь исправить — сойди с арены. Минуты уступает минуте, человек — человеку, метод — методу, но принцип верен: наука правдива, и звезды не лгут.

XI

«Генетлиалогия», или учение о предопределении судьбы рождающегося младенца, составляет самую сложную часть греческой астрологии; рядом с нею учение об инициативах поражает своею простотой и доступностью; это не более как перенесение в астрологию общераспространенной практики определения удобства или неудобства данного момента для данного действия. Эту практику мы встречаем у всех народов, встречаем ее и у греков задолго до зарождения у них астрологии: еще у Гесиода часть его дидактической поэмы «Работы и дни» посвящена рассмотрению счастливых и несчастных дней, притом счастливых либо вообще, либо для какого-нибудь определенного дела. «Иной день — мачеха, иной — мать»[2], — гласит главный принцип этой «теории дней»; в частности же она имеет следующую форму:

Вот назову тебе дни, промыслителем данные Зевсом;
Это — канун, четверица и свет благодатный седмицы
(В этот ведь день родила Аполлона-метателя Лето);
С ними — восьмой и девятый: то лучшие в первом десятке
Дни, чтобы всякому делу почин даровать среди смертных.
В среднем десятке — два первых, счастливые оба для дела,
Тот — чтоб овец расчесать, а другой — чтоб за жатву приняться.
Двунадесятница, все же, единнадесятницы лучше:
В этот ведь день и паук, по висячей скользя паутине,
Нити выводит...

В этот и женщина день пусть для ткани станки приспособит...

Во всем этом астрологии еще нет; все же переход от этих «инициатив» народных поверий к астрологическим был очень прост и естествен. Гесиод говорит ведь о днях месяца, из которых каждый соответствовал известному фазису Луны; значит, он допускал влияние, по крайней мере, Луны на успешность или неуспешность человеческих дел. А раз Луна была признана одною из семи планет, то было вполне справедливо распространить приписываемую ей власть и на остальные, что и сделала астрология.

Отсюда развилась, прежде всего, так называемая хронократория, т.е. учение о чередовании планет в их власти над определенными промежутками времени; это учение интересует нас ближе, чем это кажется на первый взгляд. Было решено, что каждый час дня и ночи состоит под покровительством одного из семи планетных божеств, порядок чередования которых естественно было определить по установленному греческой наукой отдалению соответственных планет от Земли — т.е. следующим образом: 1) Сатурн, 2) Юпитер, 3) Марс, 4) Солнце, 5) Венера, 6) Меркурий, 7) Луна. Этим был дан цикл в семь дней — та же планета, которая начинала собою первый день, начинала также и восьмой, пятнадцатый и т.д. Так была создана «астрологическая» неделя, которая, соответствуя довольно точно астрономической неделе (т.е. четвертой части лунного месяца), в союзе с еврейской седмицей покорила весь цивилизованный мир. Далее, было также естественно, чтобы планета, которой принадлежал первый час дня, считалась покровительницей всего дня, которому она дала почин. Если теперь читатель возьмет на себя труд разместить, в указанном порядке отдаленностей, хронократории всех часов семи последовательных дней и затем (согласно принципу, что властитель первого часа дня есть в то же время и властитель всего дня) высчитать хронократорию самих дней, то он получит для них следующий порядок: 1) Луна, 2) Марс, 3) Меркурий, 4) Юпитер, 5) Венера, 6) Сатурн, 7) Солнце — т.е. именно тот, в котором эти имена следуют одно за другим в неделе романских и германских народов[3]. Это объяснение, которым мы обязаны все тому же

Буше-Леклерку, блистательно решает вопрос, немало занимавший ученых, — вопрос о происхождении порядка астрологических имен в христианской неделе.

С установлением хронократорий дана вместе с тем и общая теория «инициатив», единая для всего человечества. Прежде чем совершить какой-нибудь более или менее важный поступок, справьтесь в вашей табличке, какому божеству принадлежит час; вы поступите совершенно правильно, если для заключения контракта с вашим подрядчиком изберете час Меркурия, а для написания любовного письма — час Венеры. Поступать наоборот было бы неблагоразумно; но сам себе враг тот, кто предпримет чего-нибудь в час Марса или Сатурна. Такой грех случился — по Шиллеру — с Валленштейном: внутренний голос советовал ему прервать наблюдение неба с наступлением враждебного часа («Смерть Валленштейна», начало):

Теперь довольно, Сени; на востоке

Алеет день, Марс часто управляет.

Уже не время делом заниматься.

Узнали мы достаточно; пойдем!

Но он не мог оторвать своих глаз от чарующего зрелища, которое именно тогда представилось его взору, — оно описано у нас выше (гл. VIII). Он последовал совету своих звезд, забыв о том, что коварный Марс, связанный в зодиаке обоими благодатными светилами, — все же, как хронократор, удерживал свою власть и над собою, и над ними. В этом состоит его, если можно так выразиться, астрологическая вина.

Вообще же система хронократорий, будучи единой для всех и имея в своем основании общеизвестное значение планет, дозволила верующим обходиться без услуги астролога: достаточно было завести несложную таблицу хронократорий, вроде составленной Буше-Леклерком, — и человек знал, с каким богом ему приходилось считаться в каждый день и каждый час астрологической недели. Понятно, что потребности верующих этим не были удовлетворены; кто раз принял основные астрологические догматы, тот не мог не сознавать, что решающим все-таки будет распределение планет в зодиаке в момент задуманного действия, — а его установить и выяснить мог только астролог. Система хронократорий была поэтому для ученых только одним из моментов, принимаемых в соображение при определении инициатив; остальными элементами были все те же, известные нам уже, части небесной рулетки - планеты, зодиак и круг генитур.

Присутствие последнего на первый взгляд нас озадачивает: дело ведь касается не генитур, а инициатив — какой смысл может иметь «дом родителей», если я совещаюсь по поводу предполагаемого путешествия в Египет, или «дом религии», если мне нужно знать, будет ли пойман мой сбежавший раб? Дело в том, что астрология по мере своего роста обнаруживала тенденцию предать забвению качественное значение знаков зодиака, как чересчур наивное и годное для профанов вроде Трималхиона, сохраняя за ним только геометрическое, так сказать, значение, как подкладку для теории жилищ, экзальтации и аспектов. Вот в этом-то качественном отношении круг генитур чем далее, тем более вступает в права зодиака; необходимые изменения нетрудно было произвести. Так в вопросе о поимке беглого раба — очень серьезном в интересующую нас эпоху — только четыре «центра» круга генитур (гороскоп, верхнее и нижнее преполовения и закат) имели значение: гороскоп отвечал на вопрос о шансах поимки, верхнее преполовение — о причинах побега, закат — о дальнейшей участи и нижнее преполовение — о настоящем местопребывании беглеца.

В других случаях можно было не обращать внимания на «дома», явно не имеющие касательства к данному делу, или признать за ними только общее значение по характеру их обитателей — доброго и злого гения, доброй и злой судьбы. Разумеется, мы не имеем возможности даже в главных чертах развить здесь теорию инициатив; гораздо лучше будет привести конкретный пример ее применения. Пример, который я имею в виду, один из замечательнейших в истории — он касается древнего Валленштейна, Леонтия

Антиохийского. Сходство это до того поразительно, что можно бы было предположить прямую зависимость Шиллера от документов о Леонтии, если бы не факт, что эти документы были обнаружены всего несколько лет назад (в 1898 г.) по почину Кюмона в Брюсселе. Пусть читатель посудит сам.

В 484 г., вскоре после падения Западной империи, полководец византийского императора Зинова задумал сам короноваться на царство в Антиохии. По совету своих астрологов — одним из которых, по-видимому, был его ближайший советник Пампрепий — он избрал для осуществления этого намерения первый час дня (т.е. час восхода Солнца) в среду — *dies Mercurii* — 27 июня. Все подробности данной им инициативы нам известны: привожу те из них, которые имели решающее значение в глазах и Пампрепия, и его будущих критиков ([см. чертеж 3]):

Солнце—Рак 23°
Луна—Скорпион 7°
Сатурн—Скорпион 15°
Юпитер — Рак 5°
Марс—Рак 20°
Венера—Близнецы 26°
Меркурий—Лев 19°
Пункт гороскопа—Рак 23°

Поистине, и Леонтий имел право, при виде этой инициативы, воскликнуть, подобно Валленштейну: «Счастливейший аспект!» В гороскопе — два благодетельных светила, Юпитер и Солнце, шествуют, имея между собой связанного по обеим рукам Марса. Это заманчивое знамение вскружило голову бедному Леонтию: он отложился от своего государя и сам в Антиохии провозгласил себя императором. Но Зинов от своих прав не отказался: изгнанный из Антиохии, отступая шаг за шагом перед войсками своего противника. Леонтий нашел свое послелнее убежище в изаврийской крепости Папирии — как Валленштейн в Эгере. Но и здесь он долго продержаться не мог; прежде, однако, чем погибнуть, он велел отрубить голову тому Пампрепию, который дал ему губительный для него совет.

Астрология всполошилась: неужели ее предсказания были обманчивы? Нет; если тут есть чья-нибудь вина, то, конечно, астрологов Леонтия. Их инициатива была подвергнута ревизии. Да, «осада» Марса благодатными планетами — счастливое знамение; но эти астрологи не обратили внимания на то, что Меркурий, хронократор дня и часа, был тогда «болен». Был же он болен по двум причинам: во-первых, он находился в своем наибольшем отдалении от Солнца, а это предвещает насильственную смерть; кроме того, Сатурн, находясь в Скорпионе, был с ним во враждебном, квадратном аспекте. Расслабленный своим удалением от Солнца, терзаемый ударами супостата -Сатурна, он тщетно просил о помощи; из дружественных светил одни находились в смежном и потому безразличном знаке, Венера же, стоявшая с ним с благоприятным секстильным аспекте, была не в силах его выручить, так как между нею и им стояло Солнце, под лучами которого ее луч бы угас. Затем, если хронократором дня и часа был больной и немощный Меркурий, то господствующей планетой гороскопа была Луна — она ведь «живет» в Раке, у нее, стало быть, в гостях находились и Солнце, и Марс, и Юпитер. И вот хозяйка инициативы сама больна: находясь в Скорпионе, знаке своей «депрессии», она «унижена и обессилена». Все это бы еще ничего: аспект гороскопа настолько благоприятен, что превозмог бы эти неудобства. Но как мог Пампрепий упустить из виду то место учителя астрологии Дорофея, где он разъясняет значение находящейся в известной — для нас, вследствие порчи текста, невразумительной — констелляции Луны?

Здесь... Луна превосходный почин знаменует,
Но лишь на миг; он обманет, исход — неизбежная гибель.

Так оно и вышло. Леонтий поплатился жизнью за неопытность своего советника; но астрология правдива, и звезды не лгут.

ХП

История с Леонтием Антиохийским лучше всяких теоретических рассуждений объясняет нам причину живучести астрологии. Располагая тем научным аппаратом, который был создан работой многих поколений, астрология была очевидно неуязвима: сколько бы раз ни ошибались астрологи, сколько бы человеческих жизней ни гибло от излишней доверчивости к их вычислениям — последующие «математики» всегда найдут средство обнаружить ошибки своих предшественников и доказать, что совершилось именно то, что — по правильному толкованию инициативы или генитуры — должно было совершиться. Так-то всякое мнимое поражение астрологии оказывалось, при более правильном взгляде на дело, ее торжеством. Слишком глубоко запал в душу античному человеку основной догмат астрологической религии, догмат всемирной симпатии; слишком близок был его сердцу тот вывод из него, который Шиллер в «Валленштейне» с чисто античным чутьем высказывал устами своей героини («Пикколomini», д. III, явл. IV, пер. Шишкова):

О, если в этом знанье астрологов —
Я с радостью готова разделить
Их светлое ученье. Как отрадна,
Как сладостна для сердца эта мысль,
Что в высоте небес необозримой
Из светлых звезд венки любви для нас
Уж был сплетен до нашего рожденья!

Отдельные формы, в которых выражалась эта идея, могли быть преходящими; пока сама идея не была опровергнута — астрологии нечего было опасаться за свое существование.

Это не значит, впрочем, что этой науке без боя удалось занять то место, которое ей уделяли современники Зинона и Леонтия. К их эпохе V век нашей эры был уже на исходе; астрологии было тогда без малого восемь столетий. Мы проследили выше лишь подготовительный период ее существования, до ее превращения в настоящую науку в эпоху Бероса, т.е. в начале III века до Р.Х.; обзором ее участи до падения античного мира мы закончим наш этюд.

Находясь на границе между областью наблюдения и областью умозрения, между астрономией и философией, астрология естественно подвергалась нападениям с той и другой стороны; но все эти нападения — это полезно будет отметить теперь же — были направлены лишь против тех или других (правда, очень существенных) ее постулатов, а не против ее основного догмата всемирной симпатии. Астрономия, прежде всего, в лице своих лучших представителей в III и II веках до Р.Х., относилась безусловно отрицательно к астрологическому ведовству, хотя и признала устами своего корифея Гиппарха физическое родство звезд с людьми и астральный характер человеческой души. От нее, таким образом, помощи ожидать было нечего — и, само собою разумеется, это положение дел только делает честь греческой астрономической науке. Позднее наступило время, когда ей пришлось искать убежища у своей отверженной дочери: в течение всего средневековья именно астрология с ее мнимой практической применимостью поддерживала в обществе интерес к астрономическим наблюдениям. Пока же дух научности был еще силен, и астрономия спокойно шествовала вперед по пути научных исследований и смотрела на бредни астрологии приблизительно такими же глазами, какими современные нам медики смотрят на теории знахарей, спиритов, экзорцистов и тому подобные тайнобрачные наросты на дереве своей науки.

Не было особенно дружелюбным отношение к нашей науке философии. Последователи Платона, вскоре после зарождения астрологии, протянули руки скептицизму: «новая» академия с ее просветительным задором не обошла своим вниманием новоявленного метода ведовства и выставила против его тезисов свои антитезисы, грозные и беспощадные, но, разумеется, бессильные против пламенного желания верующих. Школа Аристотеля недоверчиво относилась к теории, которая разрушала представление о вечном мире в заоблачном пространстве, внося туда разного рода «болезни» и страдания, дружбы и неприязни, «экзальтации» и «депрессии». Еще пренебрежительнее было отношение влиятельной секты эпикурейцев, которая, признавая бытие богов, как существ безусловно совершенных и блаженных, именно поэтому не допускала их вмешательства в человеческие дела ни в форме указаний и предостережений, ни — подавно — в форме непосредственного руководства или влияния. То философское направление, которому суждено было впоследствии оказать астрологии самую существенную помощь, — новопифагорейское с его пленительным мистицизмом — тогда еще только прозябало; из влиятельных школ последнего века до Р.Х. одна только стоическая приняла астрологию под свое покровительство. Что было причиной этой снисходительности — это мы видели выше: астрология была для стоицизма очень желанной помощницей в борьбе с диаметрально противоположными учениями эпикурейцев. Но даже среди стоиков многие предпочитали вести борьбу своими средствами и не рассчитывали на помощь союзницы, которая сама не имела прочного положения среди наук и легко могла, в случае падения, увлечь с собой и того, кто вздумал бы искать в ней опоры для себя.

Но пока во всем греческом мире кипела научная борьба, на Западе назревала культурная величина, все более и более определявшая направление умственных движений Востока. Уже со II века до Р.Х. стало вполне ясным, что двигательная сила и практическая важность каждого нового направления в области мысли будет зависеть от того влияния, которое оно будет иметь на духовную жизнь Рима.

ХІІІ

Почва народного сознания была здесь подготовлена ничуть не хуже, чем в Греции. Римская религия не обладала определенностью греческой; если для грека было несколько затруднительно отождествить своего Зевса, которого ему изобразил Фидий в Олимпии, с ничуть не похожей на него планетой того же имени, то от римлянина это отождествление требовало гораздо меньше интеллектуальных жертв. С другой стороны, чуткая и боязливая в религиозных делах душа италийца сознавала себя окруженной постоянным током ежеминутно чередующихся божественных сил, имевших более или менее значительное влияние на физическую и умственную его жизнь; эти эфемерные божества — божества древнейших молитв, — бывшие в сущности лишь воплощениями моментов, представляли много родственного с астральными излияниями, с которыми имели дело поборники нового учения. Если позднее учитель Овидия, Ареллий Фуск, смеялся над самомнением людей, которые, давая веру астрологическим бредням, допускают, что «столько богов горячатся из-за головы одного человека», то он делал это как ритор, а не как римлянин: по римской религии число богов, суесящихся при зачатии и рождении одного человека, еще более многочисленно, и их суеливость подала позднейшим, христианским вероучителям повод к еще более язвительным насмешкам.

Но иное дело — римский народ, иное — римская интеллигенция, этот естественный мост между Римом и греческой культурой. Ее наиболее ярким и обаятельным представителем во II веке до Р.Х. был кружок Сципиона Младшего, традиции которого держались в римском обществе до Цицерона включительно; а этот кружок находился под влиянием талантливого греческого философа-популяризатора, Панетия. Правда, Панетий был стоиком, и благодаря ему это сильное, здоровое по своему

существованию учение пустило корни в Риме; но в то же время он был реформатором стоицизма, и в число его реформ входил и разрыв с астрологическими теориями. Очевидно, этому центральному влиянию Панетия и Цицерон был обязан тем просветительным (в тесном смысле слова) характером своей философии, который сделал ее столь популярной среди французских просветителей XVIII века; в своем сочинении «О ведовстве» (*de divinatione*), в котором он, по словам Вольтера, «предал вечному осмеянию все ауспиции, все прорицания, всякую вообще ворожбу, от которой оглупела земля», он, по собственному признанию, последовал почину Панетия (I, 6), да и стрелы свои брал большею частью из его арсенала.

Были ли эти стрелы действительны? Рассматривая их точнее, приходится признать, что они частью совсем не попадали в цель, частью же касались только поверхности астрологии, не проникая в ее сердцевину. Вероятно ли одинаковое влияние планет при их громадном расстоянии друг от друга? Возможно ли устанавливать общий для всей Земли круг генитуры, когда на разных широтах аспект неба бывает различен? Не безумно ли допускать влияние на новорожденного только этих неощутимых астральных токов, оставляя в стороне гораздо более заметную силу метеорологических явлений? Затем, если для всех одновременно рождающихся и генитура одна, то как объяснить, что никто из родившихся одновременно со Сципионом Африканским не стал на него похож? Если астральные излияния кладут на рождающегося неизгладимую печать, то как объяснить, что столько и врожденных, и телесных, и душевных недостатков исправляется воспитанием? Это касается людей; но астролог ставит генитуры даже городам, предполагая, очевидно, что астральные излияния действуют также на кирпичи и камни стен. — Однако, опыт что-нибудь да значит, — говорят они. Не правда ли — этот полумиллионный опыт халдеев, на который так любят ссылаться? В него пусть верят другие, что же касается нашего опыта, то и Помпею, и Крассу, и Цезарю было предсказано, что они умрут в своем доме в глубокой старости, окруженные всеобщим почетом, — и что же вышло из этих предсказаний?

Во всех этих нападениях не было ничего смертоносного; но астрологии не пришлось даже защищаться от них. В то самое время, когда Цицерон писал свои возражения, ее поборники уже знали, что будущее принадлежит им. Книги *de divinatione* были последним ярким лучом римского рационализма; вскоре он угас. Торжеству астрологии содействовали главным образом два момента.

Первый был тот, что современник Цицерона и самый образованный человек своего времени, стоик Посидоний, открыто выступил защитником астрологии. Этот замечательный философ, влияние которого на образованность императорской эпохи мы чем дальше, тем более учимся ценить, был слушателем Панетия, но по вопросу о ведовстве вообще и об астрологии в частности с ним разошелся: сопоставив все документы, которые могли придумать и собрать его всеобъемлющая эрудиция и проницательный ум, он отдал в распоряжение астрологии такой богатый арсенал, что борьба с врагами на теоретической почве уже не представляла для нее особой трудности; впрочем, самым удобным и в то же время действительным оружием было самое имя Посидония. «Выйдя из рук Посидония, — говорит Буше-Леклерк, — астрология была уже не только методом ведовства: это была общая теория природных сил, равная по своей приспособляемости новооткрытой теории одушевленных элементов брожения, но еще превосходившая ее своей универсальностью». Посидоний стал настоящим философом астрологии; кто отныне хотел вести борьбу с ней на умозрительной почве, на того ложилась нелегкая задача опровергнуть его доводы.

Вторым элементом было то, что римское общество, под влиянием целого ряда внутренних и внешних причин, дошло мало-помалу до такого состояния, при котором вера в астрологию стала для него логической необходимостью. Об особом предрасположении италийцев к допущению окружающих излияний была уже речь выше. Прибавим к этому ту выдающуюся роль, которую играло ведовство в частной и

политической жизни Рима; значение ауспий, без которых не совершался ни один важный государственный акт; значение этрусского гадания по внутренностям жертвенных животных, к которому государство обращалось в исключительных случаях, частные же люди — сплошь и рядом; наконец, книги судеб римского народа, пророчества древней Сивиллы. Особенно важны были эти последние. Из них явствовалась необходимость не то разрушения, не то обновления Римской державы именно к нашей эпохе — эпохе Цицерона и Цезаря; тяжелым гнетом это ожидание катастрофы лежало на умах римского общества, пока его избавителем не явился император Август, — это я постарался описать в другом месте[4]; здесь достаточно будет заметить, что астрология отлично сумела воспользоваться этим напряженным состоянием для того, чтобы вкратце в доверие римлян. Именно тогда появился первый римский астролог-литератор, Нигидий Фигул, об остроумной апологии которого была уже речь выше; тогда же и друг ученого Варрона, этрусский астролог Таруций, поставил генитиру самому городу Риму на основании его судеб за семь с лишком веков — ту генитиру, над которой смеялся Цицерон, но которой, вместе с Варроном, следуем и мы, когда называем год 753-й до Р.Х. годом основания Рима. Все это были очень знаменательные факты; но наибольшую услугу оказала астрологии страшная «звезда-меч», сверкнувшая над Римом в то самое время, когда народ справлял тризну по Цезарю. В ней молодой наследник Цезаря признал и душу своего обоготворенного отца (по усыновлению), и звезду своей собственной генитиры, как его приемного сына; когда ему удалось вывести Рим из пучины гражданских войн, он дал астрологии официальное доказательство своей милости, приказав отчеканить серебряную монету со знаком своей генитиры — Козерогом. Кстати: Август родился в сентябре, Козерог был знаком декабря, — стало быть, гороскопом его зачатия. Отсюда видно, какое направление астрологии одержало верх при нем, но эти различия в методах были неважны; главное было признание астрологии со стороны такого могучего культурного элемента, каким была императорская власть в эпоху Рождества Христова... Это Рождество тоже было ознаменовано появлением новой звезды, засиявшей над вифлеемской хижинкой и даровавшей новую эру также и астрологии; но об этом будет сказано позднее.

От диadoхов до Августа, от Бероса до Посидония простирается эпоха юности греческой астрологии — та эпоха, во время которой ее здание достраивалось и укреплялось. Работа эта была большею частью безымянная; будучи знакомы с самим зданием, мы легко пойдем причину этой безымянности. Мы охотно следим за толковым индивидуальным изложением какой-нибудь системы, пока автор ссылается на доказательства, которые мы можем проверить; автор, не опасаясь этой проверки, не имеет причины скрывать от нас свое имя. Но читатель уже много раз имел случай убедиться, что в астрологии дела обстояли далеко не столь благополучно. В ней было много таких постулатов, которые необходимо было принять на веру; а для веры требуется элемент божественный, откровение, источник которого давно уже предполагался иссякшим. Вот почему на сцену выступает, как гарантия достоверности, древность — глубокая, сказочная древность; самые современные и туземные тезисы выдавались за порождения халдейской мудрости — этим самым им обеспечивался тот успех, которого вправе ожидать полумиллионелетняя традиция. Самое слово «халдеи» превращается в нарицательное; «халдеи» и «математики» называются рядом, просто как люди, занимающиеся составлением генитур и инициатив. Были же это в лучшем случае греческие астрологи, а в худшем — всякого рода восточный сброд, ютившийся под аркадами цирка и вообще в подозрительных местах и за гроши толковавший суеверной толпе ее «планету».

Популярность «халдейской» астрологии возбудила ревность другого народа — носителя оккультнических идей — египетского... или, говоря вернее, навела находчивых людей на мысль воспользоваться священным страхом, который внушали людям пирамиды и сфинксы берегов Нила, для того, чтобы создать конкуренцию мудреным «вавилонским» вычислениям. В течение I века до Р.Х. появляется — разумеется, «найденная» где-то — объемистая книга, украшенная именами древнего

египетского царя Нехепсона и его придворного прорицателя Петосириса. Эти два автора нашей книги предполагались жившими в VII веке до Р.Х. Возраст этот был ничтожный в сравнении с ошеломляющей халдейской древностью; зато египетская Исида была много популярнее вавилонских Мардуков и сильнее действовала на фантазию жителей Римского государства. Книга Петосириса удержалась. Уже Цицерон называет «египтян» и «халдеев» рядом, как представителей астрологической науки; позднее имя Петосириса стало чем-то вроде нарицательного для обозначения астрологии вообще.

Вторжению Петосириса астрология была обязана новым и опасным приобретением — астрологической медициной. Кто послушно и доверчиво принял все применения догмата всемирной симпатии, которые вошли в состав чистой астрологической науки, тому уже ничего не стоило признать заодно и влияние планет и знаков зодиака на человеческое тело, его здоровье и болезни... Мы здесь говорим не о том, что успех лечения был поставлен в зависимость от положения звезд — акт лечения, как и всякий акт, допускал инициативу, в этом ничего особенного не было. Астрологи шли дальше; астральная симпатия специализировалась ими в смысле магической связи между данным созвездием и данной частью человеческого организма — той связи, которая и поныне слышится в имени новомодной болезни «инфлуэнцы». Метод этой новой науки был в своем основании несложен: надлежит вытянуть зодиак в одну плоскую полосу, начиная с Овна, знака весеннего равноденствия, и на этой полосе растянуть человеческое тело; при этом получался целый ряд изумительных совпадений, которые вполне убедительным образом подтверждают правильность самой теории. Голове будет соответствовать Овен; вполне резонно, так как Овен — голова зодиака. Шее — Телец, или, согласно более глубокому толкованию, телка; опять-таки очень разумно, так как главная сила тельца — в шее. Плечи и руки — Близнецам; это уже совсем хорошо: двойное созвездие действует на парные члены. Грудь — Раку; тоже как нельзя более убедительно, так как и грудь, и рак защищаются костяной броней, *thorax*. Бока—Льву; и в этом есть смысл, если вникнуть в дело поглубже. Продолжать параллелизацию не совсем удобно; достаточно будет прибавить, что в конце концов мы доходим до ног, коим соответствуют Рыбы: так как и ног две, и рыб две, то адепт новой науки должен был почувствовать себя вполне удовлетворенным.

Понятно, что астромедицина должна была сильно увеличить клиентуру астрологов; она касалась наиболее дорогой для всякого человека области и обращалась к нему в тот момент, когда он всего менее способен рассуждать, более всего склонен верить и поддаваться обаянию личности и догмата. Но, раз завоевав медицину, астрология не замедлила наложить руку и на другие области науки, более или менее от нее зависящие. Научная медицина создала науку о климатах; астромедицина, следуя ее примеру, произвела особую астрогеографию, задачей которой было — определить преимущественное влияние на каждый участок Земли определенной планеты или зодиачной звезды. Научная медицина создала себе помощницу в лице фармакопеи, из которой на вольном воздухе греческой научности развилась ботаника, украшенная великим именем Феофраста, а за нею и зоология, и минералогия; астрология не остается позади своей соперницы и создает особые астроботанику, астрозоологию и астроминералогия, с утомительно однообразной задачей — установить мистическую связь между звездами, с одной стороны, и породами животных, растений, минералов — с другой. Везде торжествует абсурд; историку бывает трудно сохранить хладнокровное настроение, когда он исследует это поразительное вырождение здоровой и сильной некогда науки, и более чем что-либо астрология представляется ему ядовитым анчаром, заразившим своими одуряющими испарениями все живые организмы, которые имели несчастье попасть под его тлетворную тень. И все же, взвесив тщательно все доводы за и против, нельзя безусловно ее осудить. Вспомним хотя бы главное положение астроминералогии, положение о мистическом родстве Солнца с золотом, Луны с серебром, Сатурна со свинцом и т.д.; вспомним, что оно породило мысль о возможности

превращения, путем астрологических операций, металла Сатурна в металл Солнца, а с нею все те бредни, из которых со временем сложилась новая наука, алхимия, эта беспутная мать нынешней почтенной матроны химии, — и мы будем судить мягче. Да, астрологический анчар усыпил греческую науку, но, усыпив, сохранил ее в течение долгих-долгих лет, пока, наконец, момент пробуждения не наступил.

XIV

Мы забежали вперед — все это наступательное движение астрологии в область науки заняло императорскую эпоху, отделяющую античный мир от средневековья. Теперь вернемся к тому моменту, когда астрология получила официальную санкцию от основателя римского принципата, императора Августа. Эта санкция быстро завершила то, что по естественному ходу событий все равно должно было случиться: астрология стала центральной умственной силой в Римском государстве. Мы правильно поймем это ее значение, если проследим ее отношение, во-первых, к императору и его двору; во-вторых, к греко-римскому обществу; в-третьих, к философии и науке; в-четвертых, наконец, к нарождающемуся культурному фактору, христианству.

Если бы астрология перешла в придворную римскую среду в том виде, в каком ее знала семиэтажная каланча вавилонской обсерватории, ее представители могли бы вести тихую и приятную жизнь под теплыми лучами императорской милости, не страшась злокозненного Марса, живя в добром согласии со старым хитрецом Сатурном и ожидая всего хорошего от Юпитера, Меркурия и даже Венеры. Придворный маг в своей пышной, усеянной звездами восточной мантии образовал бы очень красивую фигуру рядом с длиннородым придворным философом в греческом плаще и чалмоносным придворным врачом, забавляя императорских сотрапезников метафизическими спорами с первым и помогая второму своими советами в одинаково темных для обоих случаях. Конечно, иногда пришлось бы ему отвечать и на более серьезные вопросы; но эти ответы — «счастье для Рима, несчастье для парфийского царя» и т.д. — он сумел бы обставить так, чтобы при всяком исходе дела оградить правдивость не только звезд, но и их мудрого истолкователя. К сожалению, эти безмятежные времена прошли безвозвратно; пройдя через горнило греческой мысли, астрология приняла в себя такие элементы, которые, удесятерив ее привлекательность и важность, увеличивали также и ее ответственность до ужасающих размеров. Не халдейской, а греческой душе приснился тот «веночек любви, из светлых звезд сплетенный» для каждого сына Земли. Этот веночек возбуждал любопытство не одного только своего носителя; если любовь небесных звезд была слишком велика — он легко мог превратиться в терновый венец для того, чью голову он осенял. Так-то астролог стал властелином судьбы людей; перуны высшей власти были в его руках — а это роковой, гибельный для своего владельца дар.

Из возвеличенных Августом людей никто не изведал в такой мере превратности судьбы, как его пасынок, позднейший император Тиберий. Будучи сыном простого римского сенатора, он был обязан своим возвышением любви императора к его матери, Ливии. Став таким образом — за неимением у Августа собственных сыновей — ближайшим к престолу вельможей, он вдруг подвергся опале и был изгнан на остров Родос. Его сильный, но мнительный ум был потрясен этим двойным оборотом счастья; терзаемый пламенем своего мрачного честолюбия, он все работал над разрешением мучительного вопроса: быть ему императором или нет? Астрология объявляла себя компетентной в подобных вопросах; но можно ли было на нее положиться? Тиберий решил испытать сначала самих астрологов. Живя в Родосе в богатой вилле высоко над морем, волны которого омывала отвесная скала берега, он приглашал к себе то одного; то другого астролога и подолгу совещался с ним в присутствии одного только, очень крепкого, но совершенно необразованного и грубого раба. Совещался он с ним, разумеется, о томившем его вопросе; он принимал меры к тому, чтобы император никак

не мог узнать о предмете совещаний: отводя обрадованного гостя по прибрежной тропинке обратно, силач - раб с удобного места бросал его в море. Когда несколько учеников Петосириса погибли таким образом, был приглашен к Тиберию некто Фрасилл, один из наиболее славных астрологов того времени. Поговорив с ним о своих делах, Тиберий предложил ему поставить также и свою собственную генитуру. Фрасилл охотно согласился; но, исследовав свои диаграммы, побледнел и дрожащим от волнения голосом сказал, что звезды сулят ему почти неизбежную, немедленную смерть. Этот ответ поразил Тиберия; он обнял и успокоил Фрасилла и сделал его своим другом и учителем. Эту историю нам рассказывает Тацит; знатоки Вальтера Скотта вспомнят, вероятно, об удачном подражании ей в романе «Квентин Дорвард», где в роли Тиберия выступает французский король Людовик XI.

Пользуясь уроками Фрасилла, Тиберий и сам приобрел недюжинные познания в астрологии; в лице его после Августа сама астрология заняла римский престол. При этом дело не обошлось без злодейства; любителям психологических анализов предоставляется догадаться, не досталась ли предсказанию Фрасилла при этом та же роль, какую в истории воцарения Макбета сыграли льстивые предвещения ведьм. Но, как бы то ни было, Тиберий знал теперь по опыту, какое значение может иметь астрология в честолюбивых замыслах людей. Он сам некогда вопрошал в Родосе созвездия о смерти и преемнике Августа; кто знает, не вопрошают ли их теперь об его собственной смерти? Мрачный и подозрительный по своей природе, он не мог отделаться от мысли об этих таинственных излияниях безмолвных небесных светил, которые когда-то благословили его на царство, а теперь, безжалостные, ласкают и вдохновляют другого... Кто бы это мог быть? Есть средство узнать это, средство верное и безошибочное; нужно ставить генитуру всем, на кого только может пасть подозрение, одному за другим. И вот Тиберий уединяется на богатом островке Капри; с ним Фрасилл и другие «халдеи», числа которых легенда увеличивает по желанию своих творцов. Один за другим все приближенные, в лице своих астральных печатей, проходят перед сумрачным взором императора. Горе тому, в чьем «доме чести» Юпитер сиял слишком дружелюбным блеском: несколько дней спустя в высшем обществе Рима было одной скоропостижной смертью больше, одной честолюбивой надеждой меньше. Рассказывали, что и молодой Гальба обратил на себя внимание Тиберия; и у него оказалась императорская генитура, но звезда сулила ему власть лишь в глубокой старости. Это смягчило императора, и он его пощадил. Как известно, Галба сделался — на несколько месяцев — преемником Нерона, который приходился Тиберию правнуком по усыновлению.

Разумеется, эта последняя история — явный анекдот; поскольку самый «черный кабинет» Тиберия является плодом легенды — мы судить не можем. Но легенда не измышляет, а только, если можно так выразиться, «типизирует», собирая в один фокус разрозненные лучи действительности; отвергнутая фактической историей, она удерживает свое значение для истории нравов и культурных веяний.

Пока мы видели астрологию союзницей императорской власти; но легко понять, что это была союзница опасная, внушающая гораздо более беспокойства, чем доверия. Было желательно для императора знать генитуру своих приближенных; но было очень нежелательно, чтобы эти приближенные интересовались его генитурой. И вот начинаются ограничительные и карательные меры против астрологии и астрологов. Еще во время республики «халдеи» и «математики» были иногда прогоняемы из города Рима; но эти гонения были продиктованы совершенно другими соображениями: просветительная закваска была сильна в римском обществе, оно могло со спокойной совестью принимать меры против тех, которые ради наживы эксплуатировали легковерную толпу своими вздорными вычислениями. Более политический характер имел декрет, изданный в эпоху последней междоусобной войны, но и его можно было оправдать соображениями общественной пользы; умы были мучительно напряжены предстоящим конфликтом между Октавианом и Антонием, и астрологи, предсказания которых еще более волновали

и без того беспокойный народ, были в столице очень нежелательным элементом. Но эра преследований, начавшаяся при Тиберии, носила совсем другой характер: астрологию преследовали потому, что ее боялись, а боялись ее потому, что в нее верили.

Предвестником злой судьбы был декрет, изданный еще Августом относительно астрологических консультаций: были запрещены все консультации при закрытых дверях и все—даже при открытых дверях, — имеющие предметом чью-либо смерть; но этот декрет, вошедший в кодекс римского права, не имел династической подкладки. Он стоял в связи с заботами императора об улучшении семейной жизни, будучи направлен против милых родственников вроде того, которому Персии влагает в уста благочестивое пожелание:

Эх, кабы дядя издох! Вот бы славные справил поминки!

Для астрологов это была мера ограничительная, не более; кто закона не нарушал, того не трогали. При Тиберии положение дел изменилось. Поводом к строгости послужил процесс молодого честолюбца Либона в 16 г. по Р.Х., дальнего родственника императора. Ему вменялись в вину сношения с разного рода прорицателями и колдунами, среди которых были и «халдеи» и «математики», относительно его будущего величия. Судился он в сенате, но в присутствии императора; результатом было то, что Либон, отчаявшись в спасении, сам с собою покончил. Тогда состоялось сенатское постановление об изгнании из Италии «математиков» и «колдунов»; двое из них были казнены смертью нечестивцев — один сброшен со скалы, другой засечен розгами. Мартирологу астральной веры было положено начало; человеческая кровь и для нее, как для всех верований, оказалась самым надежным и долговечным цементом.

Дальнейшая судьба астрологии в ее отношениях к императорской власти определялась большим или меньшим действием тех двух сил, роль которых мы охарактеризовали только что: веры — с одной стороны, боязни — с другой. Развивать ее в частностях нет надобности; пришлось бы повторяться на каждом шагу. Биографии императоров полны сбывшихся якобы прорицаний астрологов об их будущем возвышении. Вспомним, что обычный в наше время переход высшей власти от отца к сыну был в императорском Риме большой редкостью: обыкновенно император достигал престола либо путем усыновления, либо силой оружия. И в том, и в другом случае власть была даром счастья; Юпитер, Марс, Венера были в большей или меньшей мере замешаны в деле возвышения нового императора, и астрологической легенде предоставлялось широкое поле, которым она и воспользовалась вволю.

Но правдивые предсказания астрологов — только один из обоих, бесконечно варьируемых мотивов, составляющих историю астрологии при императорах; другой состоял в обвинении того или другого лица, что оно «вопросило астрологов относительно смерти государя» или, если это была женщина, «относительно его женитьбы» — с обычным приказом об изгнании из Италии халдеев и астрологов. Т.е. изгонялись лишь не замешанные непосредственно в деле лица; замешанным же грозила казнь. Иногда, впрочем, мы встречаем в этой хронике отрадные проблески здравого смысла; заслуживает быть спасенным от забвения прелестное место из письма императора - философа Марка Аврелия Л. Веру по поводу восстания Авидия Кассия: «Если власть ему суждена свыше, мы, при всем своем желании, не будем в состоянии его убить; ты знаешь слово твоего прадеда: никто не убивает своего преемника». Вообще же, преследования были последним словом политической мудрости властвующих; а так как временные кары только увеличивали престиж опальной науки, ничуть не уменьшая числа ее адептов, то стали со временем издавать постановления постоянного характера, вошедшие в действовавшее право. Закон оказывал всякую честь геометрии как полезной для общества науке, но «математическое искусство» подвергал безусловному запрещению, как предосудительное и вредное занятие. Кары были различные, смотря по предмету консультации; если она касалась здоровья или жизни императора, то и консультант, и астролог подвергались казни.

Само собою разумеется, что все эти крутые меры ничуть не повредили астрологии как таковой; но представителям ее наконец надоело удобрять своею кровью ниву своей науки. Нельзя ли было обставить эту науку так, чтобы она перестала внушать страх носителям государственной власти? Такое средство нашлось; оно столь остроумно, что было бы несправедливо не передать его словами самого изобретателя, Фирмика Матерна, написавшего подробное, хотя и довольно сумбурное, руководство астрологической науки в правление Константина Великого. «Твои ответы, — говорит он своему ученику, — ты должен давать публично, предупреждая твоего клиента, что будешь отвечать громким голосом; — это для того, чтобы он не предлагал тебе вопросов, которые он не вправе ставить и на которые отвечать запрещено. Ни под каким видом не отвечай на вопросы о положении государства к жизни императора. Говорить о политике, ради угождения простому любопытству, грешно; но тот, кто стал бы отвечать на вопросы о жизни императора, был бы достойным всякой кары злодеем, так как об этом никто ничего ни знать, ни сказать не может. Действительно, полезно, чтобы ты это знал: всякий раз, когда гаруспики хотели отвечать на вопросы частных лиц, сюда относящиеся, назначенные для исследования внутренности жертвенного животного, расположение их жил, ставили им неразрешимую загадку. Равным образом и математик никогда не мог ничего утверждать относительно будущей судьбы императора, что было бы согласно с истиной: дело в том, что император один не подвержен влиянию звезд, он — единственный, о судьбе которого небесные светила ничего сказать не могут. Будучи властелином всего мира, он знает одну только распорядительницу своей участи — волю божества; имея под своей властью поверхность всей земли, он сам причислен к тем богам, которым высшее божество вручило силу все созидать и все охранять. И вот главная обратился вопрошающий — этот дух, будучи слабее по власти, ничего не может сказать о той высшей силе, которая воплощена в императоре».

Этот ответ бесподобен по своему наивному лукавству; никогда еще богословская философия Платона и верноподданническая благонадежность не вступали друг с другом в столь изумительный для обеих сторон союз. Одно только было трудно — заставить императоров уверовать в их астрологически-привилегированное положение. К сожалению, времена были трезвые; Калигул более не рождалось, а те почтенные посредственности, которые сидели на римском престоле в IV и V веках, были слишком скромного мнения о себе, чтобы поддасться соблазну. Лесть Фирмика пропала даром; астрология продолжала считаться неблагонадежной до самой кончины античного мира.

XV

Было сравнительно нетрудно обнаружить нити императорской политики по отношению к астрологии; они немногочисленны, и известные нам факты сами собой на них нанизываются. В совершенно ином виде представится нам дело, когда мы от особы императора перейдем к греко-римскому обществу эпохи империи — пестрый калейдоскоп всевозможных мнений к настроений, из которых очень трудно составить единую разумную картину. Одно, впрочем, несомненно: астрология пользуется в греко-римском обществе громадным влиянием и широкой популярностью; это одинаково следует и из насмешек врагов, и из энтузиазма поклонников, и из отзывов трезвых и беспартийных людей, и, наконец, из свидетельств астрологов о самих себе и своей деятельности.

Говоря о насмешках врагов, мы разумеем под этими последними неверующих; среди верующих тоже были враги, но тем было не до смеха — они астрологии боялись. Говоря далее о неверующих, мы опять-таки выделяем тех, которые своим неверием были обязаны философии или науке, — о них будет сказано ниже. Здесь нас интересуют неверующие из общества, ставшие такими вследствие того интеллигентного скептицизма, к которому бывают склонны вкусившие образование и в то же время чуждые всякого увлечения люди. Спокойно отдыхая под прохладной сенью своего мирозерцания, они с

насмешливой жалостью смотрели, как доверчивая толпа отдавала свои последние гроши шарлатанам, смущавшим ее сомнения быть не могло; это были просто «дураки» (по-греч. blakes); пошлину, которою в некоторых городах были обложены астрологи, насмешники называли «пошлиной на глупость» (blakennomion). О самих же астрологах мнение двоилось. Большинство, понятно, принадлежало к обманщикам, которых недурно было бы присудить ad bestias в одну из тех жестоких забав на арене, когда людей заставляли бороться с дикими или разъяренными животными, чтобы они впредь по собственному опыту:

Знали, как действует Лев; знали, в чем сила Тельца.

Но были между ними честные, хотя и глупые фанатики вроде того Авла, про которого юморист Лукилий, один из поэтов греческой антологии, написал одну из своих остроумнейших эпиграмм (XI, 164):

Круг генитур своей исследовал Авель астролог;
Долго ли жить суждено? Видит — четыре часа.
С трепетом ждет он кончины. Но время проходит, а смерти
Что-то не видно; глядит — пятый уж близится час.
Жаль ему стало срамить Петосириса: смертью забытый,
Авель повесился сам в славу науки своей.

Но не насмешники задавали тон в римском обществе; оно сознательно или бессознательно испытывало на себе влияние римского двора и было поэтому в большинстве своих представителей настроено либо сдержанно, либо восторженно. Сама сдержанность была в различные времена различная. Об эпохе Августа мы можем судить по примеру лучшего наблюдателя современного ему общества, Горация. Когда-то он беспечно смеялся с Меценатом над верованиями темной черни, будучи в душе убежден, что

...боги живут безмятежно,
И если диво какое проявит природа — не боги ж
В гнев с высокого неба его посылают на землю

(Сат., I, 5, пер. Фета). С тех пор он пережил в своей душе и обращение римского общества, как он это сам описал в одном стихотворении (Оды, I, 34); мы не имеем права сомневаться в искренности советов, которые он дает императору относительно восстановления храмов и воскрешения родных культов. Но можно ли отнестись с таким же доверием и к астрологическим местам в его стихотворениях? Так же ли он искренен, когда он тому же Меценату, с которым он некогда смеялся над чудесами народных верований, пишет, чтобы отогнать обуявший его страх перед смертью (Оды, II, 17, пер. Фета):

В один и тот же день со мною ты умрешь,
Недаром я клялся в душе нелицемерной;
Иду, иду с тобой, куда ни поведешь,
Последнего пути твой сотоварищ верный...
Живу ль под знаком я таинственных Весов,
Иль страшный Скорпион участие принял рано
В течении моих пожизненных часов,
Иль Козерог, тиран волнений океана.
Невероятно соглашение у нас
С тобой в созвездиях. Тебя рукой могучей
Юпитер осенил и от Сатурна спас...
Меня и т.д.

Или это дружелюбная уступка настроению его больного покровителя, искавшего в науке звездочетов спасения от томившего его страха? Или, наконец, не более как игра остроумия и поэтического воображения? Какое объяснение мы бы ни признали

правильным — я лично склоняюсь в пользу второго, — значение астрологии в римском обществе будет им достаточно иллюстрировано.

То же впечатление получаем мы и от других поэтов этой эпохи. И Вергилий, и Проперций, и Овидий имеют недюжинные познания в астрологии и охотно их излагают своим читателям; последний же из поэтов эпохи Августа, принадлежащий уже в значительной мере времени его преемника, Манилий, написал даже об астрологии целый дидактический эпос — один из самых трудных, скучных и вообще неудобочитаемых эпосов древности.

Вторым цветущим периодом в эпоху империи было время Траяна; тогда писал один из величайших римских писателей, Тацит. Его мнение об астрологии избавит нас от необходимости считаться с показаниями его современников. Более трезвого, более широкого ума Рим тогда не знал; можно сказать вообще, что все лучи просвещения, которые еще остались от смелой и свободной эпохи Цицерона, были сосредоточены в его душе. Тем более поучительно сравнение вышеприведенных доводов Цицерона против астрологии со следующим мягким и нерешительным суждением Тацита, которое он произносит по поводу отношений Тиберия к астрологу Фрасиллу (Анналы, II, 22): «Когда я слышу эти и подобные им рассказы, я не решаюсь высказаться определенно, роком ли и нерушимой необходимостью управляются дела смертных, или случаем. Величайшие умы старины, как равно и пошедшие от них школы, расходятся в этом отношении. Многие (эпикурейцы) того мнения, что ни начало нашей жизни, ни ее конец, ни вообще человеческий род не составляют предмета заботы богов; и вот почему так часто печальная участь достается добрым людям, счастливая злым. Зато другие (Платон) допускают влияние рока на человеческие дела, но выводят его не от блуждающих звезд, а от самого начала и естественной причинной связи событий; все же они предоставляют нам право выбора своей жизни, но с тем, чтобы, раз этот выбор совершился, дальнейшие события шли одно за другим в ненарушимом порядке. В оценке же счастья и несчастья не следует держаться мнения толпы: многие счастливы, будучи обуреваемы кажушимися невзгодами, и наоборот, многие несчастны среди всего окружающего их богатства — если только те спокойно переносят удары судьбы, а эти безрассудно пользуются ее благосклонностью. Большинство же людей (стоики) держатся убеждения, что в момент рождения человека уже решен ход его будущей жизни; если же то или другое совершается несогласно с предсказанием, то в этом виновата ошибка толкователей, говорящих о вещах, которых они сами не знают. Этим подрывается доверие к науке, давшей, однако, ясные доказательства своей правдивости и в прежнее время, и в наше». Я позволил себе перевести эту главу из Тацита для того, чтобы не приводить других родственных мест, интерес которых не может идти в сравнение с признанием великого римского историка и мыслителя.

Третью группу свидетелей составляют восторженные поклонники модного метода ведовства; это — громадное большинство. Искать их следует во всех сословиях; конечно, ученые астрологи, вроде Фрасилла, имели своими клиентами только людей высшего общества, но зато к услугам невзыскательного простонародья были другие, не столь ученые, сколько ловкие «халдеи». Интересная наука в то время просачивалась быстро во все слои общества. Привратник стоика Стертиния просвещал свою аудиторию из свободной и подневольной мелкоты в духе парадоксов своего хозяина, доказывая ей, по мере своего разумения, что только мудрец и могуч, и богат, и прекрасен, и искусен во всяком мастерстве, не исключая и сапожного; можно себе представить, какую публику собирал слуга Фрасилла, читая лекции вроде вышеприведенной (с. 222) тримал-хионовой о тайнах зодиака! Так-то астрология проникла в народ; аркады цирков наполнялись самозванными халдеями и египтянами, и с «пошлиной на глупость» дела шли бойко.

Опытный наблюдатель Гораций любил прислушиваться к их консультациям, которые и поныне, в разных формах, составляют одну из интереснейших сторон народной жизни в Италии: истинно италийская находчивость и изворотливость находят тут

широкое применение. Он вскользь упоминает об этом в той сатире, в которой описывает уклад своей столичной жизни:

Вечер наступит — вдоль цирка брожу иль по форуму шляюсь,
Слушаю, что говорят там вещатели...

Но частностей он нам не сообщает. Зато интерес высшего общества к астрологии известен нам по многим подробным картинам; нечего говорить, что на первом плане стоят тут женщины. О них мы послушаем Ювенала — помня, однако, что Ювенал был сатириком и что для восстановления истинного колорита пришлось бы, вероятно, во многих местах разбавить краски (Сат., VI, 553). Женщины, говорит поэт, склонны ко всякого рода гаданьям, но

Более всех доверяют халдеям; что скажет астролог —
Свято для них, точно вещей родник у Аммонова храма
(Дельфы не в счет, там давно уж иссякла оракула сила,
Мглою незнания там род смертных окутан печальный).
А из халдеев почтеннее тот, кто не раз был ссылаем,
Чья драгоценная дружба и проданный круг генитуры
Стоили жизни вельможе, завистника жертве Отона.
Лучший искусства залог, если руки оковы влачили,
Если по целым годам в казематах томился гадатель.
Нет вдохновения в том, кто не был наказан ни разу,
Тот им велик, кто едва не погиб, кому милостью было
В мраке тюрьмы заточенье на диких скалах серифийских,
И после долгих страданий — желанная весть о свободе.
Вот кому ставить вопросы о матери смерти ленивой,
Или о мужа кончине — твоя благоверная; скоро ль
Боги сестру уберут, или дядей? а друг ненаглядный
Переживет ли ее? Вот это — подарок бесценный!

Есть и похуже. Ведь эта сама генитуры не ставит,
В толк не возьмет, что Сатурна унылый ей луч предвещает,
Вреден ли месяц, или нет, и удобно ли время для дела.
Есть, говорю, и похуже: с такой ты и встретиться бойся,
В чьих ты руках календарь заметишь лоснящийся, точно
Жирного шар янтаря; за советом она уж не ходит —
К ней за советом идут. Ни в поход, ни на родину с мужем
Не согласится поехать она, если цифры Фрасилла
Счастья ей не сулят. Пожелает ли за город съездить —
В книжку заглянет, полезен ли час.
Если чешется глаз ее —
Круг развернет генитуры своей — и тогда лишь помажет;
Хворь одолела, в постели лежит — не отведаст пищи:
Ждет, чтобы время пришло, что пророк указал Петосирус.

Блеск придворной жизни, милость и страх властвующих, широкая популярность в высшем обществе — все это, вместе взятое, легко могло вскружить голову представителям священной науки. Тем более заслуживает внимания, что про частную жизнь астрологов, насколько мы, по крайней мере, можем судить, никаких дурных слухов не ходило. Разумеется, мы говорим здесь не о тех лжехалдеях из-под аркад цирка, нравственный уровень которых вряд ли многим возвышался над той средой, к которой они принадлежали; но то, что мы слышим об ученых астрологах, не может не внушать нам мнения, что астрологическая наука, при всей своей несостоятельности как таковая, в нравственном отношении имела облагораживающее влияние на своих адептов. О причинах этого явления будет сказано в заключительной главе; здесь достаточно будет отметить самый факт. Сколько гнусностей рассказывали про других гадателей и

представителей восточных культов и верований в греко-римском мире — гнусностей, к которым их многочисленная, преимущественно женская, клиентела давала столько поводов, — об астрологах народная сплетня молчит. Это видно уже из приведенного отрывка Ювенала: он клеймит суеверие римских аристократов, но на астрологов не бросает другой тени, кроме той, которая заключается, по мнению скептика, в самой их науке. Положительную сторону дела развивает тот же Фирмик Матерн, из которого мы выше заимствовали оригинальную теорию о неподчиненности императора влиянию звезд. «Астрология, — говорит он, — возвышает и очищает душу; кто отдается ее изучению, тот должен себя чувствовать чистым и святым, точно жрец, должен уподобляться божеству — только тогда он удостоится быть вестником небесной правды. Он должен быть доступен и общителен; нехорошо, если вопрошающий обращается с трепетом к тому, от кого он ждет совета. Он должен быть целомудренным, трезвым, воздержным: низкие страсти роняют славу божественной науки. Если у клиента на душе запрещенный вопрос — его следует ласково вразумить, доказывая ему всю тщетность его желания, но не бранить и, по давню, не доносить на него властям: не подобает жрецу обгагрять себя кровью человека. Астролог должен быть хорошим семьянином; его дом должен быть центром для многочисленных хороших друзей, — вообще, он не должен чуждаться жизни, но, принимая в ней живое участие, должен держаться спокойного и бесстрастного образа действий, сторонясь от партийных распри, сторонясь от всякого общения с крамольниками, не оскверняя своей души любостыжанием. Пусть его окружает слава мудрой простоты в общественной жизни, верность в союзах дружбы, безупречной честности во всех деяниях и помыслах; пусть он никогда не пятнает своей совести лжесвидетельством, никогда не извлекает прибыли из несчастья другого человека. Пусть он заблудшим будет верным руководителем, тем более если эти заблудшие — его друзья; хорошо, если они ему будут обязаны просветлением своего ума. Никогда не должен он участвовать в ночных священнодействиях, ни с кем не должен иметь тайных совещаний: открыто, пред глазами всех, должен он совершать свое божественное дело. Укажет ему генитура какой-нибудь тайный порок его клиента — он не должен о нем объявлять во всеуслышание, а говорить в сдержанных выражениях, намеками: несправедливо винить человека в том, что ему назначило враждебное течение звезд. Зрелищ в цирке о не должен посещать, чтобы не прослыть приверженцем той или другой партии (т.е. синих, красных и т.д.; тут мы узнаем отголосок безумного увлечения конскими бегами и вызванного им партийного деления, этой отравы общественной жизни Рима в его последние столетия); жрецу приличествует строгое беспристрастие и в этом, и во всех других отношениях. Вот в каких принципах он должен воспитать свою душу, прежде чем приняться за изучение книг о влиянии звезд на судьбу людей: в душе мутной, запятнанной гнусной страстью, слова высокой науки не оставят следа — всегда остается неучем тот, кто ее оскверняет нечестивой волей. Чистым, целомудренным и непорочным да принимается астролог за святое дело — тогда он еще большего достигнет вещью силою своего духа, чем самим ученьем».

Конечно, читая эти строки, мы не должны забывать, что нам рисуется не портрет, а идеал астролога — идеал для многих, быть может, недостижимый; Фридендер, говоря в своей «Истории нравов в императорском Риме» (I, 365) об этой картине Фирмика, полагает, что автор в ней косвенно обнаруживает слабые стороны в характере своих коллег. Не думаю, чтобы мы имели основание так пессимистически смотреть на дело; на мой взгляд, вышеуказанные отрицательные свидетельства косвенно уже наводят нас на благоприятное суждение о нравственном облике астролога, а положительные сведения Фирмика позволяют нам специализировать это неопределенное благоприятное суждение. Изображаемый идеал всегда находится в известном отношении к действительному среднему уровню: этот уровень должен быть сравнительно высок для того, чтобы идеал мог достигнуть сферы безусловной чистоты и святости.

Но что же делала тем временем та умственная сила, которая была призвана стоять на страже истины и охранять ее от посягательства сознательного и бессознательного обмана, — что делала греческая наука? Для того ли учеными минувших периодов было сделано столько изумительных открытий в области астрономии, математики, физики, механики, медицины, естествознания и других наук, чтобы теперь какие-то неощутимые и неопределенные излияния объявлялись единственными действующими в физическом и моральном мире силами? И для того ли великие мыслители прошлого старались найти и оформить законы нашего мышления, чтобы теперь бессмысленные постулаты, прикрываясь облыжным покровом неведомой старины, навязывались людям помимо всяких разумных методов доказательства? Нет; греческая наука, с философией включительно, знали свою обязанность и до последнего времени не переставали бороться с захватами своей противницы; но в этой борьбе шансы не были и не могли быть на их стороне. Мы предоставляем себе еще вернуться к вопросу о внутреннем основании непобедимости астрологии как в древности, так и в последующие времена — вопросу интересному и важному не с одной только исторической точки зрения; теперь же бросим еще последний взгляд на ее борьбу с наукой, начиная с того пункта, когда стоик Посидоний послужил ей желанную для нее и роковую для человечества службу, сделав свою философскую систему фундаментом ее легковесных надстроек.

Можно ли было, прежде всего, возражать против основного догмата, на котором покоилось все астрологическое здание, против много уже раз упомянутого нами догмата всемирной симпатии — против мнения, что все части мироздания солидарны между собой; что часть подобна целому, человек — миру; что огонь сознания, одушевляющий нас, родственен огню небесных звезд, откуда снизошла в наше тело искра нашей жизни; что это самое тело, наконец, связано узами такого же родства с окружающими его стихиями, которые в свою очередь подвержены влиянию эфирных сил? Оспаривать это значило отрицать основные тезисы всего мирозерцания греков; прибегая до заключительной главы рассуждения о нравственно-интеллектуальном значении этого догмата, мы теперь можем удовольствоваться установлением факта, что попытки к опровержению этой основной аксиомы если и делались, то без успеха; опираясь на великое имя Посидония, астрология могла спокойно предоставить своей участи бессильные стрелы, направленные против этой части ее научного здания. Опасность для нее возникла там, где начинался переход от основной теории к самой системе. Допуская фактичность и действительность астральных излияний — где доказательство, что их система верно уловлена и изображена астрологической наукой?

Читателю не трудно будет понять, в какое выгодное, сравнительно, положение была поставлена астрология благодаря такому ограничению площади нападения; ведь не подлежит сомнению, что если бы теперь воскресла наша умершая наука, то современные представители положительных знаний направили бы свои удары против основной теории и презрительно оставили бы без внимания опирающуюся на нее систему. К этой громадной выгоде, обусловленной самым мирозерцанием древних, прибавлялась, однако, другая, вытекающая из положения, занятого астрологией в практической жизни. Сильная сочувствием подавляющего большинства интеллигенции, она не была стеснена теми тяжелыми условиями, при которых обыкновенно новая наука должна прокладывать себе путь: вместо того, чтобы тщательно доказывать свои положения, завоевывая шаг за шагом свою позицию среди равнодушно или недоверчиво настроенных умов, она их только ставила, предоставляя противникам труд их опровержения; *onus probandi*, по требованиям логики лежащий на ней, в силу особых условий переместился и был возложен на ее противников. Они должны были доказать неправоту того, что составляло элементы ее системы; она же считала себя вправе признавать достоверным все то, что не было ясно и убедительно опровергнуто.

Этим последним обстоятельством была обеспечена жизнь многим постулатам астрологической науки, которые при других условиях неизбежно бы пали под ударами

скептицизма. В самом деле, признаем факт планетных излияний несомненным. Что же доказывает нам, что именно излияния Марса вредны, излияния же Юпитера благотворны? «Таково убеждение глубокой древности, корни которого теряются в тайне откровения; такова поныне вера народа, не могущего без священного трепета смотреть на багровый огонь Марса и чувствующего себя положительно обласканным мягкими лучами Юпитера; если вы не верите, докажите противное». Так можно поступать только тогда, когда чувствуешь вокруг себя симпатический ток воли огромной массы, требующей лишь на грошь логики для того, чтобы согласиться с тобою; но раз этот ток действует, победа обеспечена. И все-таки область произвола, и притом произвола нелепого, в астрологии так велика, что противникам была дана возможность производить опустошительные набеги на всю систему; но тут ей оказало помощь именно то ее свойство, которое в наших глазах более всего роняет — ее природная шаткость и призрачность. Стены реального города страдают от ударов тарана; против воздушных замков, которые возводит волшебница Моргана, он бессилен. Стоило противникам привести какое-нибудь серьезное, убийственное возражение — астрология, принимая его к сведению, соответственным образом исправляла и дополняла свою систему и выходила из борьбы крепче, чем была до нее. И не только крепче — она становилась также и сложнее, и в этом заключалась немалая выгода. Представителям здравой философии и трезвой науки нелегко дышалось в одуряющей атмосфере халдейской мудрости; они неохотно погружались в нее и были рады вынырнуть при первой возможности. Удлиняя и расширяя ходы своих пещер, астрология достигла того, что профаны теряли охоту и (можно сказать) физическую возможность их исследовать; а это, в свою очередь, давало ей нравственное право отрицать их компетентность всякий раз, когда они повторяли какое-нибудь прежнее возражение, на которое давно уже были найдены ответы.

В этом заключается третья выгода положения астрологии; ее значение лучше всего выяснить на примере. Еще Цицерон, как было сказано выше, упрекал астрологию в том, что она сосредоточивала свое внимание на одних только астральных излияниях, упуская из виду гораздо более ощутительную и, следовательно, действительную реакцию климатических и топографических условий, — возражение прекрасное, подготовленное теорией Гиппократов и поведшее в своем дальнейшем развитии к теории Бокля. Астрология признала его силу, но обратила его в свою пользу. Характер местностей — стала она учить — в свою очередь стоит в зависимости от действующего в каждой из них созвездия; основываясь на этом принципе, она построила свою мудреную астрогеографическую систему, о которой речь была выше. Теперь ее противникам оставался один из трех методов: или погрузиться в изучение этой ничуть не заманчивой для них системы, чтобы обнаружить ее недостатки, — или отказаться от своего возражения, — или, продолжая пользоваться им, дать астрологии право назвать их невеждами. Избрали они, к слову сказать, третий путь — и в нашем случае, и во всех родственных ему.

Еще более плодотворным был для астрологии ряд других возражений, которые сводятся все к противопоставлению индивидуума той — естественной или случайной — группе, в состав которой он входит. Корабль терпит крушение, весь его экипаж — старики, юноши, дети, мужчины, женщины — тонет; что же, стало быть, генитуря у всех была одинакова? У всех в «доме странствий» свирепствовал Марс в знаке Рыб? Под Каннами погибли тысячи римлян. И они родились под одинаковым аспектом враждебных светил? Дева наделяет родившихся под ее знаком белой и гладкой кожей. Следует ли допустить, что из эфиопов ни один не родился под знаком Девы? Опять астрология благоразумно принимает к сведению эти возражения и обогащает свою систему новой теоремой, а именно: генитуря или инициатива целого господствует над генитурой или инициативой части. Если звезды целому народу, городу, войску предсказали гибель, то само собою разумеется, что это относится также и к каждому отдельному индивидууму, вошедшему в их состав, все равно, предусмотрена ли эта участь в его генитуре, или нет.

Отсюда следует, что человек не должен довольствоваться своей генитурой, а должен справляться об инициативе каждого более или менее важного дела — для астрологии такое решение вопроса могло быть только выгодно. Что же касается эфиопов, то черный цвет их кожи объясняется астрогоеографическими условиями страны, которых Дева в каждом отдельном случае изменить не может — ее ложка мела пропадает в бочке сажи. Таким образом нападки врагов были отражены: положение, что среда подчиняет себе личность — положение вполне научное, непосредственно согласное с опытом и бессознательно руководимым им здравым смыслом, — находило себе совершенно разумное выражение в астрологической теореме и преобладании общей (кафолической) генетлиологии над частной. Опять победа была на стороне астрологии.

С возражением, заимствованным из несходства судьбы близнецов, мы уже имели дело выше: ответом астрологии было указание на гончарное колесо и совершенно убедительное заявление, что при постоянной изменяемости констелляций не может быть двух вполне совпадающих генитур. Ответ, как таковой, был блистателен; но, давая его, астрология признавала за своими противниками право ставить к ее тщательности и точности такие требования, каких ни один человек не в состоянии удовлетворить. Они им воспользовались в полной мере; с большим юмором описывают они умилительную кооперацию астролога и повивальной бабки при рождении младенца. Нет, не одного астролога, а по крайней мере двух — один должен находиться в комнате роженицы, а другой — на вышке; лишь только событие совершилось — первый ударяет в медный таз, а второй по этому сигналу отмечает гороскоп. И все-таки момент будет упущен: пока первый астролог ударит в таз, пока звук достигнет уха второго, пока он остановит свой взор на гороскопе — пройдет по меньшей мере по секунде. И можно ли, при естественных неровностях почвы, говорить о точном определении гороскопа? И что следует, собственно говоря, разуметь под рождением младенца? Уж если на то пошло, то астрологи должны ему ставить по крайней мере две генитур: одну для его головы и одну для ног. Астрология могла отнестись ко всем этим придирам со спокойным достоинством преследуемой невинности. Да, противники совершенно правы: абсолютная точность в астрологических наблюдениях невозможна. Но что же отсюда следует? Разве в астрономических наблюдениях она возможна? Однако же это не мешает астрономам предсказывать с приблизительной точностью затмения Солнца и Луны и регрессии планет. То же самое и здесь. И астрологи только с приблизительной достоверностью предсказывают судьбу людей, и они подвержены ошибкам; но это — ошибки не науки, а только ее представителей. Со временем, надо полагать, их будет меньше: техника прогрессирует, методы совершенствуются; пока же будьте благодарны и за ту степень достоверности, которая достижима при нынешних условиях.

Приведем еще одно возражение, чтобы затем покончить со всей этой стороной вопроса. Если излияния звезд действуют на младенца в ту минуту, когда он впервые втягивает в себя живительную струю воздуха, то нет ровно никакого основания думать, что они не действуют точно так же и на всякое другое одушевленное существо. С этим астрология смело могла бы согласиться — в этом еще ничего опасного для нее нет: она ведь сама изобрела свою удивительную астрозоологию, в которой все породы животных были поставлены в мистическую связь с планетами и знаками зодиака. Но вот где таилась опасность: если факт зависимости человека от астральных излияний давал астрологам право ставить людям генитур и инициативы, то столь же несомненный факт воздействия звезд на животных давал этим последним право требовать того же и для себя. Другими словами: астрологи, в случае надобности, должны были уметь определить генитур любого головастика, любого комара... Вопрос был коварен, хотя и не в том смысле, о каком прежде всего склонен будет думать современный, выросший в атмосфере христианского мирозерцания читатель: идея отсутствия принципиального различия между человеком и животным, теперь навязывающаяся нашему уму, как следствие эволюционной теории, — идея, по словам Ницше, «истинная, но убийственная», — была

вполне в духе античности; это доказывает, между прочим, учение о переселении душ. Нет, коварство вопроса заключалось в другом; дело в том, что первая и долгое время единственная союзница астрологии, стоическая философия, этой идеи не признавала. Ее возвышенному идеализму претила мысль о качественной однородности человека и бессловесной твари; конечно, животное тоже было одушевлено, но его душа была простым физическим средством предохранения плоти от разрушения, наподобие соли и других таких же веществ, а вовсе не носителем индивидуального самосознания. Таким образом, астрологии оставалось одно из двух: или смиренно принять удар, или нарушить договор с союзницей. Она избрала последнее: в вопросах самосохранения *casus foederis* не имеет места. К тому же, теряя покровительство стоиков, она приобретала дружбу новопифагорейцев, учение которых было тогда, астрологически выражаясь, *in oriente domo*, и сверх того увеличивала свою клиентелу легионами сердобольных римских барынь, которые были рады возможности узнать от астрологов генитиру своих собачек.

Конечно, все это мало серьезные, с современной точки зрения, диспуты; но сколько важных и интересных вопросов в них затронуто! Порою кажется, будто перед нами галерея арабесок: вычурные, уродливые рисунки, но, всматриваясь в них внимательнее, мы поражаемся красотой и благородством основных форм. Вот таинственные излияния планетных лучей, проникающие и в темную комнату роженицы, — они со временем навели астролога-гуманиста Сируэло на мысль: *nullum esse corpus a luce intran sibile*, за четыре века до открытия икс-лучей, по меткому замечанию Буше-Леклерка. Вот идея преобладания среды над личностью и приспособляемости последней, столь ярко сверкающая в сумбурном споре об общей и частной генетлиологии, точно янтарь в морской тине. Вот нелепая теория о семянной коробочке круга генитиры — его *domus filiorum*, в которой скрывается, в микроскопическом зачаточном виде, генитиру всего потомства клиента до последнего времени; сведем ее с небес на землю — и мы получим онтогеническую теорию так называемой «скатулапии», считавшуюся в XVIII веке последним словом науки в вопросах о происхождении организмов и принятую, между прочим, великим Лейбницем как основное положение его монадологии. А между тем всякая живая идея, в какой бы несовершенной форме она ни была выражена, воодушевляет своих борцов, давая им отрадное и бодрящее сознание правоты их дела, а с ним и силу убеждения в пропаганде, силу обороны в борьбе.

Как видит читатель, борьба астрологии с наукой велась далеко не безуспешно для первой; обладая со стороны философии несокрушимым оплотом в лице Посидония, она деятельно отбивалась от ударов физики и астрономии и из каждой стычки с ними выходила только более сильной и способной к сопротивлению. Немудрено поэтому, что в конце концов она одержала решительную победу. Этой победой было обращение в астрологическую веру самого славного из астрономов императорской эпохи, того, работы которого мы привыкли считать венцом античной космографии, — Клавдия Птолемея. Написав свое знаменитое космографическое сочинение, основание всех трудов и исследований в этой области вплоть до Коперника, Птолемей обратил внимание и на астрологию; ей он посвятил свое второе главное произведение, едва ли не более еще славное Четверокнижие (*Ietrabiblos*). В нем он оградил астрологию со стороны науки точно так же, как некогда Посидоний оградил ее со стороны философии. Как человек трезвого, тонкого ума, он старался по возможности ограничить область абсурда; он относится с явным недоброжелательством к наивной качественной дифференциации знаков зодиака, заменяя его в этом отношении кругом генитиры с его произвольной, но все же более разумной терминологией. Равным образом он устраняет все мифологические объяснения, бессознательно подготавливая этим торжество астрологии в эту эпоху, когда мифология станет запретной, дьявольской наукой; его объяснения — преимущественно физические. Вообще, в его обработке астрология получила все внешнее подобие настоящей серьезной науки; что только мог сделать человеческий ум для того, чтобы из

целого хаоса произвольных, ребяческих и часто противоречивых традиций создать единую, сплоченную и последовательную систему, то сделал для астрологии Птолемей.

XVII

Все же важность Птолемея для астрологии могла сказаться лишь позднее. Предстоял всемирный потом античной цивилизации; ближайшая судьба нашей науки, ее спасение или гибель, зависела от того, будет ли она принята в тот ковчег, который вынес из пучины остатки потопленных культур, — в ковчег христианства. А туда ей Птолемей доступа открыть не мог: плоскостью непосредственного соприкосновения античной мысли с христианской была не наука в тесном смысле, а философия. Правда, с философией у астрологии были давнишние хорошие отношения, благодаря стоицизму и Посидонию; но ореол стоической метафизики стал заметно меркнуть к эпохе распространения христианства: его затмевал чем далее, тем более блеск другого, гораздо более мистического учения — неоплатонического. Неоплатонизм был для астрологии первой инстанцией — через него и благодаря ему она могла рассчитывать также и на пощаду со стороны христианства.

Тут шансы были на первый взгляд довольно благоприятны; неоплатоническая метафизика имела своим главным фундаментом знаменитого «Тимея» афинского философа, а в космогонической системе Тимея для астрологии была оставлена калитка — узенькая, правда, но все же такая, что при некотором терпении и умелости можно было провести туда ее всю. Но для этого нужно было подвергнуть астрологию экзамену по той ее части, которою она, как наука преимущественно практическая, всегда сравнительно мало интересовалась, предоставляя ее своей союзнице, стоической философии. Первый вопрос: как велит она нам думать о свободе воли и о предопределении? Второй: что представляют из себя, теологически рассуждая, ее планетные божества?

К счастью для нее, астрология не имела определенных и обязательных ответов на эти вопросы и потому могла сговориться с теми, чей союз ей был необходим. Что касается первого, то мы уже видели (гл. IX), что по отношению к нему она страдала неразрешимым противоречием: теория генитуры основывалась на абсолютном предопределении, теория инициативы требовала возможности свободного выбора. Платон некогда согласовал детерминизм со свободой предположением, что душа в промежуточном периоде своей жизни (т.е. после смерти и до нового рождения) избирает свою будущую судьбу, которая отныне предопределена; астрологии не трудно было примкнуть к этой мысли. Избрав судьбу, душа ждет в эмпирее, пока движение звезд не создаст соответственной этой судьбе констелляции; тогда только она воплощается. Свой выбор она забывает, но в этом большого зла нет: он записан на зодиаке, в момент ее перехода в земную жизнь, и может быть прочитан людьми сведущими; астрологическая система была спасена — а это главное. На таких условиях она могла быть принята в неоплатоническую метафизику; но требовался ответ также и на второй вопрос, и тут жертва оказалась значительнее. Астрологи были не прочь признать свои планетные божества высшими и единственными. На практике дело к этому сводилось: раз властителями судьбы были боги небесной седмицы от Сатурна до Луны, то непонятно, к чему было молиться Юноне Капитолийской или Артемиде Эфесской, Исиде или Митре. Но с таким представлением неоплатоники никак примириться не могли: у них имелось одно высшее божество и ступенью ниже — ряд низших, которые тоже ничуть не походили на астрологические планеты; что же касается последних, то неоплатонизм — в лице своего корифея Плотина — мог признать за ними только значение возвестителей; «движение звезд предвещает (*semainei*) судьбу каждого, но не создает (*poiei*) ее, как неправильно понимает толпа», — учил последний философ античного мира (Эннеады, II, 3). Астрологи роптали и втихомолку рассказывали своим адептам разные страхи о каре, которую понес за свое кощунство противник астральных богов, — но делать было нечего, пришлось покориться.

На деле же Плотин оказал их науке гораздо больше пользы, чем вреда; действительно, в той теологически безобидной форме, которую он ей придал, она могла ужиться со всякой религией, не исключая и христианства. Почему бы не быть планетам огненной грамотой, написанной Творцом на небесной тверди в назидание смертным? Что же касается предопределения, то астрология могла спокойно ждать, пока христиане решат между собой этот труднейший вопрос: ее метафизический индифферентизм давал ей возможность во всякое время примкнуть к победителю, кто бы он ни был.

Итак, дело было налажено; все же желанная позиция в христианском мирозерцании досталась астрологии не без боя. Никакие метафизические различия не могли устранить того глубоко антипатичного христианам факта, что астрологические божества — или силы, все равно, — носили имена языческих дьяволов, Юпитера, Венеры, Сатурна, Марса. В силу одного этого положение, занятое христианством по отношению к астрологии, было принципиально враждебно; после долгой абсолютной власти над умами людей она вновь очутилась в положении просительницы.

Но просить она умела — в этом ей отказать нельзя. Читатель не забыл того случайного обстоятельства, которое доставило ей доступ к сердцу основателя Римской империи в самый момент ее зарождения, — той «звезды-меча», которая сверкнула над собравшимся на тризну Цезаря народом и стала звездой духовной генитуры его наследника, будущего императора Августа. Теперь представилась возможность вторично воспользоваться тем же надежным путем. Рождение Основателя новой религии тоже было ознаменовано появлением новой звезды; можно ли после отрицать, что Создатель пользуется звездами для того, чтобы возвещать людям свою волю? И кто были те, которые, поняв значение чудесной звезды, пришли отдать дань благоговения возвещенному ею Младенцу? Волхвы (magi), т.е. халдеи, — так утверждали астрологи, и христиане с ними соглашались. Но если халдеи — и притом они одни — уразумели волю Божию, то не доказывает ли это, что их метод толкования звезд был правилен? Не доказывает ли это, другими словами, безусловной правдивости халдейской астрологии? Да, доказывает, и притом блистательно; против этого спорить было трудно. Правда, нашлись недоброжелатели, пытавшиеся расшатать это красиво построенное доказательство: указывали на то, что звезда волхвов вовсе не была гороскопической звездой, а скорее небесным светочем, быть может, ангелом и даже самим Святым Духом и т.д. Все это вовсе не было убедительно; звезда, по тексту Писания, была звездой, и не было ничего странного в том, что такое необыкновенное событие, как Рождество Спасителя, было ознаменовано новым светилом. Против астрологии это ничего не доказывает, так как астрология принимает в соображение также и новые звезды, например кометы; факт же, что одни только халдейские волхвы, т.е. те же астрологи, правильно поняли смысл знамения, продолжает доказывать правдивость, мало того, богоугодность их науки[1].

Счастливые находчики этого довода — о нем мы знаем только из сочинений христиан — не предвидели, что можно было и признать его во всем объеме, и воспользоваться им против их же интересов. Не забудем, что всякое ведовство было объявлено христианами дьявольским, чем его правдивость ничуть не оспаривалась, а напротив — признавалась. И дьявол Аполлон в Дельфах, и дьяволица Фортуна в Пренесте давали людям правдивые предсказания; то же самое можно было предположить и о дьяволах, именуемых Юпитером, Венерой, и т.д. Но с Рождеством Христовым царству дьявола наступил конец. Первый пример этому подали те же волхвы - халдеи: узнав о пришествии Спасителя и отправившись поклониться ему, они принесли ему в дар свое собственное искусство. Астрология, могучая в царстве дьявола и у язычников, теряет свою силу у христиан — в купели крещения обращенный смывает с себя изливания звезд. Так учили св. Игнатий и Тертуллиан; нельзя было с большим изяществом и признать астрологию, и похоронить ее.

Но Тертуллиан и Игнатий писали еще в ранний период христианства, когда в нем преобладало оппозиционное против всего языческого общества настроение и заботы всемирного владычества еще не давали себя чувствовать, — а с другой стороны, и «приручение» астрологии неоплатонизмом не успело еще состояться: Плотин жил позднее их. Неудивительно поэтому, что александрийская школа богословов и, в частности, великий Ориген, этот главный посредник между неоплатонизмом и христианством, и к астрологии отнеслись мягче. Когда Ориген в своей комментарии на книгу Бытия доказывает, что звезды не бывают созидательницами (poietikoi) человеческой судьбы, а только ее предвозвестительницами (semantikoi), он только повторяет, применительно к христианскому учению о Божьем промысле, идею главы неоплатонизма. Правда, он прибавляет к ней другую, которая менее должна была понравиться прирученным астрологам, — что людям недоступно точное (akribos) знание этой небесной грамоты, которая начертана Провидением для духов высшего разряда. Но тут словечко «точное» спасло все; ну да, не точное, но все же некоторое. Полной «акрибии» и астрологи для себя не требовали, — напротив, именно положение о приблизительной только верности их вычислений вывозило их как в принципиальных вопросах (ср. сказанное выше о пункте гороскопа и возникавших при его определении трудностях), так и в случае опровержения их предсказаний фактами. Итак, на почве оригенианства примирение было возможно — тем более, что в других отношениях великий учитель значительно пошел навстречу их симпатиям. Они сами в сущности не сумели хорошенько распутаться в вопросе о произвольности или непроизвольности действия планетных сил; пампсихическая закуска, данная греческой философии еще первыми ионийскими мудрецами, чувствовалась также и в их учении. От христианства можно было ожидать, что оно займет в этом отношении непримиримо отрицательное положение, признавая в светилах лишь безвольные орудия высшего промысла; Ориген, однако, думал об этом иначе. Разве псалмопевец мог бы приглашать Солнце и Луну славить Господа, если бы они были бездушными телами? И разве способность небесных светил грешить и, стало быть, произвольно действовать не засвидетельствована словами Иова, что даже звезды нечисты перед обликом Господним? Это был скользкий путь, легко могший повести к ереси; но астрологам было, конечно, очень кстати иметь в самом лагере христиан учителя, столь выгодно отзывающегося об их «властителях судьбы».

И действительно, по открытому Оригеном пути астрология вливается в христианство: мы находим епископов - астрологов, находим учителей, извлекающих из священного Писания, путем довольно рискованной интерпретации, подтверждения астрологической теории жилищ; гороскопические планеты сливаются с христианскими ангелами-хранителями — чему содействовало еще более раннее отождествление тех и других с неоплатоническими гениями (или демонами). Скандал был неизбежен. С одной стороны, христианство, старавшееся быть общедоступным, изнемогало под метафизическим бременем этого предопределения, не исключаящего, однако, свободы человеческой воли, которое осталось у астрологии в качестве наследия старинной стоической эквилибристики; каким образом, спрашивает св. Ефрем, Бог, будучи справедливым, мог установить эти звезды человеческих генитур, в силу которых мы по необходимости делаемся грешниками? С другой стороны, астрологии повредил и тот скудный запас космографических истин, который составляет ее несложный научный багаж; догмат шаровидности Земли трудно уживался с тем представлением, которое естественно извлекалось из текстов Писания. Дела принимали чрезвычайно любопытный оборот: очевидно, астрология легко могла получить прощение за все абсурды, которыми она изобиловала, и спокойно, под сенью той же милости, провести в новое мирозерцание все свои незаконные исчадия вроде астромедицины и астрогеографии; роковыми для нее грозили оказаться те глубокие идеи и истины, которыми она была обязана философии и науке. В первый раз мы встречаем астрологию в благодарной роли

поборницы умственных благ античной культуры против простодушия и невежества надвигающегося средневековья.

Так обстояли дела в IV веке по Р.Х. Врагов было много, но друг был влиятелен, особенно в восточной церкви, которая вся более или менее подчинялась обаянию Оригена. Катастрофа наступила в западной церкви, объявившей как раз к исходу этого века Оригена еретиком. Положим, ее примеру последовала со временем и ее восточная сестра, но тут действие не могло быть особенно сильным: оригенианизм успел стать неотделимой частью греческого богословия, а под его сенью и астрология благополучно прошла или, говоря правильнее, проскользнула в затон византийского средневековья, в котором и осталась зимовать вместе с прочими пережитками античной культуры. Но на Западе враждебные элементы одержали победу. Осуждение Оригена в 399 г. было лишь предвестником грозы; грозой была богословская деятельность великого учителя западной церкви, бл. Августина. Этого в невежестве нельзя было упрекнуть: в своих страстных, томительных поисках истины он обратился и к неоплатонической философии, и даже к самой астрологии, но кончил тем, что отверг и ту, и другую. Он отверг, во-первых, научную часть астрологии, как идущую вразрез с Писанием, — этот удар, однако, еще не был решительным. Астрологии оставался путь к спасению под условием перестройки своего здания на библейском фундаменте, а это было тем легче, что этот фундамент был тождествен с древнехалдейским; недаром иудеи, в силу своего вышеохарактеризованного стремления, приписывали Аврааму изобретение астрологии. Но он восстал также и против астрологического учения о предопределении — и тут положение становится опять очень интересным. Против этого учения восставали также и многие языческие философы, среди которых был и главный источник Августина, Цицерон; но они делали это как защитники свободы воли человека, его *liberum arbitrium*. Августин стоит на диаметрально противоположной точке зрения. Как поборник самодовлеющей благодати, испокон века выделившей небольшую горсть избранных из огромной *massa perditiones*, он со всей яростью своей страстной натуры нападает на столь любимого им в других отношениях Цицерона за его «отвратительное рассуждение» против предопределения. Но он в то же время старательно заботится о том, чтобы ни одна пядь отвоеванной им территории не могла быть занята астрологиею. Против нее он повторяет все аргументы Цицерона, какие он только мог обратить в свою пользу; ему были ненавистны эти самозванные распорядители человеческой судьбы, своим вмешательством препятствовавшие непосредственному общению души с ее Творцом. Конечно, астрологи давали и верные предсказания — но только потому, что их вдохновляли дьяволы. Теперь христиане знали, в чью власть они отдавали свою душу, идя по их следам.

Изгнанная из августинизма, астрология подавно не находила себе убежища в учении его противников, пелагиан, отстаивавших полную свободу человеческой воли; западная церковь, колебавшаяся между августинизмом и полу-пелагианизмом, не могла дать места у себя астрологии. Еще более, быть может, повредил ей общий упадок культуры на Западе; полузабытая западными христианами, она процветала в Византии и, благодаря ее воздействию, у арабов. Через них она опять вернулась на Запад, в числе других наук, для нового, блистательного торжества.

XVIII

Зато теперь она — наука умершая, великолепная мумия в музее исторических заблуждений. И именно тщательное исследование ее организма приводит нас к заключению, что ее состояние не летаргический сон, а действительно окончательная смерть, не оставляющая надежды на пробуждение или воскресение в будущем. Но когда умерла она и от чего?

Умерла она, отвечает Буше-Леклерк, от того смертельного удара, который ей нанес Коперник. «Пока астрономическая наука, — говорит он, — довольствовалась

расширением вселенной, оставляя Земле ее центральное положение, — наивные идеи, породившие астрологию и сплотившиеся в одно целое под видом теории микрокосма, сохраняли убедительную силу традиции, в одно и то же время понятной и таинственной, оставались ключом неизвестного, хранилищем тайн грядущего. Астрологическая геометрия продолжала основывать свои построения на их первоначальном фундаменте, суженном, правда, но удержавшем значение фокуса всех небесных излияний. Но раз Земля объявлена планетой и брошена в пространство — все построение, лишенное своего основания, в одно мгновение обрушилось. Единственная не совместимая с астрологией система — это та, которую открыл некогда Аристарх Самосский и позднее обосновал Коперник; не совместимость эта такова, что нет надобности укладывать ее в логическую формулу. Она еще лучше сознается чутьем, чем разумом. Движение Земли разорвало, точно нити паутины, все воображаемые цепи, связывающие ее с звездами — теми звездами, которые, казалось, только ею и были заняты!»

Так ли это?

Разумеется, нельзя придавать значение тому, что астрология на столетие с лишком пережила Коперника: его теория так медленно завоевывала себе почву, столько противодействий встречала даже со стороны астрономов, что было бы странно ожидать от нее немедленного влияния на астрологию. Нет; но мы, вообще, не видим в открытии Коперника ничего такого, что могло бы окончательно подорвать кредит этой своеобразной науки. Оно исключило Солнце и Луну из числа планет, конечно; но уже древние астрологи отводили им, как «светилам» (*phota, lumina*), особое место не столько среди них, сколько рядом с ними. Оно представило в совершенно ином виде взаимное отношение членов Солнечной системы; да, но астрология давно уже имела дело с одними только кажущимися движениями — ведь и пресловутые «регрессии» планет были уже задолго до Птолемея признаны кажущимися, и это ничуть не мешало астрологам видеть в них источник «болезни» для соответственных божеств. Вычисления затмений солнечных и лунных и до Коперника производились с приблизительною правильностью, и их формулы не изменились от того, что Солнце и Земля поменялись местами; тем легче могла астрология, при чрезвычайной гибкости своих теорий, примениться к новым условиям. Не забудем, наконец, и страха богословов перед Коперником: всему христианству, думали они, грозит гибель от его учения, с допущением которого засвидетельствованная в Писании стойкость Земли оказывается заблуждением и все дело искупления получает своим предметом население крошечного атома в вихре небесных сил. И что же? Вот уже два с лишком столетия, как гелиоцентрическая система мирно господствует рядом с христианством, не подвергаясь сколько-нибудь серьезным гонениям с его стороны. Можно ли после того сомневаться, что и астрология сумела бы найти какой-нибудь *modus vivendi* с новой астрономией — если бы не другие, неблагоприятные для нее условия?

Нет; умерла астрология тогда, когда у нее отняли ее душу, когда место догмата всемирной симпатии занял догмат всемирного тяготения. Нанесенный Коперником удар мог лишь на время ее оглушить; задушил ее Ньютон.

Чтобы убедиться в этом, представим себе еще раз со всей возможной яркостью то мирозерцание, показателем которого был догмат всемирной симпатии; мы убедимся тогда как в научной необходимости астрологии для того двухтысячелетнего с лишком периода, который оканчивается открытием Ньютона, так и в ее несовместимости с основным принципом новейшей физики.

Науку ремесленную, как свод правил, непосредственно применимых к тому или другому практическому делу, знали многие народы — да и едва ли не все; наука, независимая от практических расчетов, наука в высшем, идеальном значении слова была в древности достоянием одних только эллинов. От них ее унаследовали мы; наследие это с течение веков стало нашей столь полной собственностью, что мы его — с чрезмерным, быть может, оптимизмом — считаем как бы частью своей природы. По той же причине мы

и не ставим себе вопроса о причине научного стремления человеческого духа; нечего спрашивать о том, что вследствие своей обычности ничьего удивления не возбуждает. Древние, умевшие вследствие более философского склада своего ума удивляться также и обычным явлениям, этого вопроса молчанием не обошли. При этом стоики, в силу своего основного принципа, усматривают в этом стремлении одну из четырех кардинальных добродетелей, самой природой вложенных в человеческую душу, — «мудрость» (*sapientia*) в техническом смысле слова. «Главную и неотъемлемую особенность человека, — говорит Цицерон (*de officiis*, I, 13), — составляет направленное на исследование истины стремление; вот почему мы, лишь только мы свободны от насущных занятий и забот, стремимся что-либо увидеть, услышать, чему-либо научиться и считаем знание скрытых и возбуждающих удивление предметов необходимым условием блаженной жизни». Да, блаженной жизни; но как понимать это античное «блаженство» — это мы узнаем из одного отрывка Еврипида:

Блажен, кто в науку душой погружен:
На ближнего злобы не ведает он;
Преступных деяний, неправедных дум
Соблазны презрел его царственный ум.
Он все созерцает пытливым душой
Нетленной Природы божественный строй:
Откуда возник он? И как? И когда?
И низкая страсть ему вечно чужда.

Теперь, когда нам дана возможность сравнить старую науку с новой, когда на между той и другой гением новой поэзии поставлен гигантский образ Фауста, с его непреодолимым влечением к симпатизирующей природе, мы легче и точнее можем ответить на вопрос, на который греческая мудрость отвечала ссылкой на основное естество человека. Потому дорожил грек наукой, потому испытывал он нравственный подъем при погружении в нее, что для него она сводилась, как для Фауста, к общению духа с духом. Мы затрагиваем вопрос громадной важности: да разрешит нам читатель, для лучшего его разъяснения, подойти к нему и с другой стороны.

Знаменитый Фр. Араго в одной своей парламентской речи рассказывает о совете, данном еще более знаменитым Эйлером своему другу, берлинскому пастору. Этот друг его жаловался на плохое внимание его прихожан к одной его проповеди, имевшей своим предметом сотворение мира. «Я представил им, — говорил он, — мироздание, с его самой прекрасной, самой поэтической, самой чудесной стороны; я приводил древних философов и даже Библию; и что же? Половина моей аудитории меня не слушала; другая половина дремала или оставила храм». Эйлер, утешая его, посоветовал ему изобразить мироздание не по древним или по Библии, а по данным новейшей астрономии. «В вашей непонравившейся проповеди вы, вероятно, следуя Анаксагору, сказали, что Солнце по объему равняется Пелопоннесу; скажите вашей аудитории, что по точным, не допускающим сомнений, вычислениям наше Солнце в миллион двести тысяч раз больше Земли... Планеты в вашем изложении только своим движением отличались от неподвижных звезд; предупредите ваших слушателей, что Юпитер в тысячу четыреста раз больше Земли, а Сатурн — в девятьсот... Переходя к отдалению звезд, не определяйте его по милям; цифры получились бы такие огромные, что не произвели бы впечатления. Возьмите за мерилу быстроту света; скажите, что он совершает девяносто тысяч миль в секунду, и прибавьте затем, что нет звезды, свет которой достигал бы нашей Земли ранее трех лет, но что есть такие, свету которых нужно много миллионов лет, для того чтобы пройти отделяющее их от Земли пространство». Пастор последовал совету Эйлера — и вслед за тем вернулся к своему другу в состоянии, близком к отчаянию. «Что случилось?» — «Люди позабыли о почтении к святому храму: они провожали меня аплодисментами!»

Трудно сказать, как отнеслась бы античная аудитория к первой проповеди нашего пастора; зато несомненно, что на второй она бы заснула. С ее точки зрения, только

грубый, варварский ум может приходить в восторг от одной громадности цифр, от этого серого тумана бесконечности, в котором всякий образ, всякий цвет расплывается, в котором ничто не дает пищи ни нашему воображению, ни нашему сердцу. Если мы справедливо видим признак упадка художественной эстетики в увлечении колоссальными формами, то мы с таким же правом можем признать упадком — не науки, разумеется, а научной эстетики, если этот термин допустим, — это бессмысленное преклонение перед миллиардами миллиардов простых и кубических миль. Конечно, для астрономических вычислений очень важно знать действительный объем солнца, но это — область науки, простому смертному недоступная. А для него, для простого смертного, что пользы в том, что новейшая наука исправила наивную оценку Анаксагора, когда для него и Пелопоннес, и миллион с лишком земных шаров — одинаково необозримая величина?

Представим себе гречанку, которая, молитвенно подняв руки, обращается к Солнцу: «О, Гелиос, ты, повсюду странствующий и все видящий, подай мне весть о моем изгнаннике-муже!» — и вслед за тем принимает внезапно возникшее теплое чувство за поданную богом желанную весть: «Он жив, он вернется!» — Попробуем сказать ей, что она ошибается, что Гелиос ничего не видит, ничего не говорит и никакой жалости к ее горю не чувствует, но что зато он в миллион двести тысяч раз превосходит объемом Землю, — будет она нам рукоплескать? Конечно, это — простая, суеверная, если хотите, женщина; но разве не из таких же женщин, в оболочке современной культуры, состояла и большая часть аудитории того нашего пастора?

Возьмем другой пример - уже не простого человека, а мужа науки; возьмем ученейшего астронома древности, Гиппарха. Представим себе его в разговоре с тем же Эйлером среди телескопов и прочих инструментов новейшей обсерватории; узнав об успехах пошедшей от него науки, он, думается нам, в следующих словах обратился бы к своему иерофанту: «Да, вы осуществили много такого, о чем я и помышлять не смел; вы раздвинули до бесконечности пределы того мира, изучению которого я посвятил свою жизнь; моя система — лишь слабый эскиз в сравнении с тем, что вами найдено и удостоверено. Но вы заплатили за все это слишком дорогую цену, изгнав из вашего мироздания взаимную симпатию и водворив на ее месте взаимное тяготение бездушных масс. От вашей науки веет холодом; ни согреть, ни вдохновить меня она не может. Для меня мои светила были родственными мне, но гораздо более совершенными существами; моя душа очищалась и возвышалась от общения с ними. Ваши безучастные миры мне чужды, и я чувствую себя среди них затерянным, точно на громадном, необозримом кладбище. Если же вы этого не чувствуете, то, видно, у вас не органом больше, а органом меньше, чем у нас. Прославляйте поэтому сколько угодно точность ваших наблюдений, широту и теоретическую истинность вашей системы; но, ради богов, не говорите о ее нравственной ценности для человеческой души!»

И что мог бы ему ответить Эйлер?

Об этом всякая догадка была бы праздной; но мы, на пороге двадцатого века, можем ответить ему следующее: Догмат всемирной симпатии был величайшим благодеянием для человечества; только благодаря ему могла возникнуть среди него любовь к чистой, независимой от узкоутилитарных соображений науке, которая в эпоху своего зарождения еще ничем другим не могла пленять человеческий ум. Но своим многовековым господством над человеком он перевоспитал его; любовь к науке, державшейся некогда на нем, благодаря этому господству стала наследственной чертой души человека, основной частью его умственного естества. И вот причина, почему даже тогда, когда наш догмат был признан заблуждением, юношеской мечтой человечества, любовь к науке не погибла: она не нуждалась более в теплой атмосфере родившего ее догмата, так как она успела окрепнуть и пустить глубокие корни в нашу душу. По той же причине продолжало жить и сознание нравственного воздействия на нее науки о мироздании. Подобно тому, как человек, глубоко веровавший в своей молодости и тихо, без жестокой борьбы и озлобления, изверившийся в течение дальнейшей жизни,

продолжает с любовью смотреть на священные символы, перед которыми он некогда благоговел, и чувствует их нравственное значение для себя, — точно так же и мы в настоящее время вполне искренно повторяем великую формулу, в которой некогда Еврипид выразил идею об облагораживающем влиянии науки. Натура наша стала сложнее; наш ум не признает более всемирную симпатию как догмат, но наше сердце продолжает ее чувствовать, как таинственную силу, соединяющую нас с окружающей природою. Не стало более священного дуба в Додоне, вещавшего некогда смертным их грядущую судьбу шелестом своих листьев; но шум лесной чащи продолжает действовать на нас, ее песня находит себе отклик в нашей душе, утешая и веселя ее в минуту горя. Не все, конечно, одинаково восприимчивы к этому голосу природы; есть между нами и такие, которым он ничего не говорит, как есть слепые, глухие и вообще увечные; тех же, отзывчивость которых особенно сильна, мы называем поэтами. Поэтическое чувство — это та часть нашего умственного организма, в которой и поныне живет лишенное своей догматической определенности сознание всемирной симпатии.

Итак, с одной стороны — наследственность, а с другой — никогда не прерывающееся общение новейшего человечества с памятниками эпохи, предшествовавшей великому расколу, той счастливой эпохи мира и гармонии, когда наука еще давала человеку то, чего жаждала его душа, когда еще не было рокового разлада между надеждами и действительностью, между субъективной и объективной самооценкой человека в его отношении к мирозданию. Этот очаг любви горит среди нас, мы бессознательно проникаемся его теплотою; науки живут, живет и вера в их нравственную ценность <...>

Мы не можем — по крайней мере те из нас, которые не погрязли в частных интересах своей специальности и не лишились способности обозревать общенаучное движение, — не можем, повторяем, спокойно отвергнуть мнение пессимистов, утверждающих, что мы идем навстречу новому техническому средневековью, столь же убогому и мрачному, как и то старое, схоластическое; не можем не чувствовать беспокойства, видя, как одни на все лады толкуют о банкротстве науки, другие с поразительным бесчувствием прославляют привлекательность той ее *facies hippocratica*, с которою она недавно предстала перед нами в пресловутой книге - исповеди Геккеля, третьи, одинаково независимые от обоих, точно какие-то Бенвенуто Челлини наизнанку, с легким сердцем бросают и науку в свою всепожирающую партийную печь. Но мы можем утешать себя сознанием, что власть времени, бессильная перед самой наукою, властвует над аспектами, в которых она представляется человеческому уму. Если симпатический аспект со времен Ньютона уступил свое место механическому, то это еще не доказывает, что последнему суждено продержаться до конца жизни человечества, — не доказывает невозможность третьего, синтетического аспекта, о характере которого теперь и думать было бы преждевременно. Когда он воцарится, тогда, конечно, не воскреснет астрология — она, повторяю, наука умершая и воскреснуть не может, — но, быть может, народится новая наука о мироздании, не менее утешительная и несравненно более совершенная, чем наивная мечта мнимой халдейской и египетской мудрости.